Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Том 2

Автор:
Макс Фрай

Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Том 2

Макс Фрай

Тяжелый свет Куртейна #3

480–510 нм – это длина световых волн, соответствующая сине-зелёному цвету. В этой части повествования от нашего зелёного света страдают ни в чём не повинные люди, город Барселона вероломно присваивает чужие штаны, звучат полезные заклинания на старом жреческом, а к живым, чтобы мало не показалось, присоединяются крепко пьющие мертвецы.

Макс Фрай

Тяжелый свет Куртейна. Зеленый

Том 2

Зеленый там горит совсем как синий.

Молчанье, тишь. Вокзал лежит в тени.

Пути блестят. «Какой зажгли?» —

«Как будто…

как будто синий». – «Спятил». —

«Сам взгляни»[1 - Иосиф Бродский. Фрагмент стихотворения «Пришла зима, и все, кто мог лететь…».].

1. Зеленый демон

Состав и пропорции:

дынный ликер «Мидори» – 30 мл;

водка – 30 мл;

светлый ром – 30 мл;

лимонад (по вкусу); лайм; лед.

В высокий бокал «коллинз» положить лед, налить по очереди водку, ром и ликер, долить лимонадом по вкусу. Перемешать барной ложкой, подавать, украсив ломтиком лайма.

Я

Я стою на границе, даже на нескольких сразу – между светом и тенью, между травой и асфальтом, между осенью и зимой. Последнее, впрочем, случается с каждым в ночь с тридцатого ноября на первое декабря. Да и все остальное при желании совсем несложно устроить. Достаточно прийти на набережную реки Вильняле, где горят неяркие фонари, расположенные так удачно, что освещают только новенькие пешеходные и велосипедные дорожки, а собственно берег, засаженный аккуратно подстриженными кустами и заросший до сих пор не увядшей с лета буйной травой, утопает во тьме, как на самом деле и положено речным берегам.

Я стою на границе между влажным зимним туманом, поднявшимся от реки, и веселым дымом ярмарочных костров, которые сейчас догорают на изнанке нашей реальности. На границе между темным пасмурным небом и невидимым, но почти мучительно ярким сиянием, заливающим горизонт. На границе между невыносимой правдой о мире и утешительной ложью о нем, между обжитым человеческим городом и причудливым зыбким пространством, в которое мы ежедневно его превращаем, всякий раз начиная заново, не с нуля, но почти с него. На границе между «есть» и «мерещится», между существующим и невозможным; впрочем, последнее не требует каких-то специальных усилий, эта граница через меня проходит. В каком-то смысле, я сам – она.

Я пока не знаю, на кой черт сюда забрел; вероятно, так зачем-нибудь было надо. «Так зачем-нибудь было надо» – универсальный ответ на любой мой вопрос. Но совершенно точно не ради собственного удовольствия. Не то у меня сейчас настроение, чтобы в романтическом одиночестве гулять по речным берегам. Мне бы чего попроще, вроде полулитровой кружки глинтвейна и возможности устроить очередной незатейливый балаган с фейерверками, причем желательно в сухом, хорошо протопленном помещении. Мое текущее агрегатное состояние не позволяет искренне наслаждаться пребыванием на границе между холодной ветреной осенью и сырой туманной зимой. Я пляшу и пылаю, как костер на ветру, я сейчас сам и ветер, и пламя, но при этом у меня явственно, совершенно по-человечески мерзнут щеки и нос. И это, конечно, тоже граница – даже не то чтобы между каким-то там «прошлым» и «нынешним» мной, а между одновременными, одинаково убедительными проявлениями настоящего, ликующим чистым духом и продрогшим живым дураком в легкой, не по сезону одежде и в раздерганном настроении, которого невесть зачем среди ночи сюда принесло. Правда обо мне – не что-то одно, а все сразу. Я и есть – сразу все.

Я стою на границе между собственной слабостью и своей же, а не чьей-то чужой, неизвестно откуда взявшейся силой; слабость, будем честны, довольно условная, просто дань старой привычке знать, что я, по идее, слаб, зато силы так много, что в меня она не вмещается, практически разрывает на части, и это хороший баланс. В такие моменты приходится делать внутреннее усилие, чтобы его удержать, не рухнуть в человеческую беспомощность, но и не взлететь с торжествующим хохотом в первые попавшиеся сияющие небеса. Не исчезнуть, как положено здесь исчезать всему невозможному, но и ничем мало-мальски возможным, упаси боже, не стать. Длиться, тянуться, быть, балансировать между светом, который льется из моих глаз, и тенью, которую я сам же отбрасываю. Я сейчас – чудо, а обязанность чуда – сбываться, постоянно, всякий раз заново, снова и снова, как выражается один из сотрудников Стефана,

временно плененный нашей жадной реальностью демон какой-то невшибенно повышенной сложности, «вечно-всегда».

Эдо

Проснулся, как от удара; на самом деле, не «как», а действительно стукнулся локтем, причем довольно чувствительно – об подлокотник кресла, в котором, собственно, и задремал. Сидя. Ну чего, молодец.

Оно, в общем, понятно: прошлой ночью спал всего четыре часа и позапрошлой не то чтобы сильно больше, и поза-поза; в последний раз по-человечески выспался в выходные, то есть, получается, уже неделю назад. Потому что жизнь прекрасна и удивительна; «удивительна» в данном случае, будем честны, эвфемизм. И при этом под завязку забита работой и делами, и не делами, и… елки, да много чем.

После такой развеселой недели уснуть, сидя в кресле, с умным видом, носом в конспекты – просто нормально. Живой же я все-таки человек, – думал Эдо, пока шел умываться. Собирался раздеться и лечь досыпать, благо дело уже к полуночи, завтра встану пораньше, на свежую голову все очень быстро доделаю, и у меня будет свободен весь день, – обещал он себе, и от этих разумных мыслей сон, конечно, мгновенно слетел, как рукой сняло. Сразу почувствовал себя неуместно, вызывающе бодрым. Это было очень приятно, немного досадно, потому что рушило планы, и одновременно смешно: ладно, был бы только характер упрямый, так нет же, весь организм целиком такой. Готов в любой момент учудить что угодно, лишь бы получилось некстати, невовремя, всем, включая себя самого – начиная с себя самого! – назло.

Пошел делать кофе, не потому что хотелось, а по традиции, для порядка – если уж все равно проснулся, давай тогда кофе пей. Нажал кнопку, машина деловито зафыркала, Эдо достал телефон, собирался проверить, нет ли там каких-нибудь пропущенных сообщений, но замер, глядя на дату: надо же, сегодня тридцатое ноября. Уже заканчивается, чуть больше получаса осталось до начала зимы. Получается, ровно год прошел с тех пор, как я… как бы домой типа считается, будто вернулся. Год. Всего-навсего уже целый год.

Это тоже было смешно. То есть, положа руку на сердце, не то чтобы действительно обхохочешься, но гораздо проще сформулировать: «мне смешно», – чем разбираться, какие именно чувства испытываешь. Разнообразные сложные чувства, скажем так. И самое сильное из них – изумление (приставка «о», корень «хрен»). За год оно не только не ослабло, но, пожалуй, стало даже сильней. Невозможно привыкнуть к тому, какая крутая досталась судьба – не кому-то абстрактному, а лично тебе. К невероятной возможности жить в двух реальностях сразу, двумя жизнями, каждая из которых не особо похожа на полноценную жизнь, зато в сумме – именно то, что надо. Чокнуться можно. Ужас кромешный. Чистое счастье. Совершенно невыносимо. Всегда о чем-то таком мечтал, хотя, конечно, не мог представить, как оно будет на практике. И сколько прибавит седых волос.

Выпил кофе залпом, почти не чувствуя вкуса; оно и к лучшему, что не чувствуя, то еще удовольствие – этот горький картонный вкус. Раньше, когда жил в Берлине, считал кофе из машины чем-то вроде бодрящей пощечины и пил по утрам, чтобы быстро и бесповоротно проснуться. А теперь пил его потому, что невкусный машинный кофе оказался чем-то вроде моста между сегодняшним Эдо Лангом и тем, из Берлина, ничего о себе настоящем не знавшим, романтичным любителем путешествий, балбесом и работягой, восторженным скептиком с огромным сердцем и твердолобой упрямой башкой. На самом деле, он был отличный; то есть, это я, получается, весь, целиком отличный, – удивленно подумал Эдо. – То, что от тебя остается после того, как утратишь все, включая судьбу и память, и есть ты сам.

Мыл чашку так долго, так тщательно тер ее губкой, словно там только что был не кофе, а топленое масло; ясно, почему. Ради томительной, но благотворной паузы между пониманием, чего сейчас хочешь больше всего на свете, и готовностью согласиться, что именно этого в здравом (здесь нужен закадровый смех) уме хочешь именно ты. Наконец сказал себе: ладно, это дело и правда надо отметить – там, где… В общем, на том мосту.

Подумал: боже, как же лень переодеваться! С другой стороны, кто там ночью будет разглядывать, в каком я вышел свитере и штанах.

Остался в домашней одежде, только накинул теплую куртку, ту самую, которую купил год назад, когда прилетел сюда из Берлина. Здесь такие суровые ноябри, что после них любая зима покажется чуть ли не солнечным маем. Вот и сейчас

температура на улице формально выше нуля, но с таким ледяным ветрищем ощущается как лютый мороз. Обмотал шею домашним шарфом из шерсти ушайских коз, которая даже от морского зимнего ветра спасает. Впрочем, иногда здешний ветер и есть наш морской. Гуляет между мирами, что те контрабандисты, спасу от него нет, вот кого надо ловить Граничной полиции и штрафовать безжалостно за издевательство над ни в чем не повинными жителями Другой Стороны, – весело думал Эдо, запирая дверь старым латунным ключом. Посмотрел на экран телефона: десять минут до полуночи. Ровно год назад в это время я ворочался с боку на бок, усталый, продрогший после целого дня беготни, сбитый с толку, беспричинно счастливый. Еще не знал, что завтра вечером окажусь дома. И о том, что такое в моем случае «дома», я тогда тоже ничего не знал.

Шел к реке кратчайшим маршрутом, очень быстро, почти бежал. Не потому, что спешил, просто музыка в плеере подгоняла. Ни в одной из своих жизней не умел танцевать. Не сложилось, не выпало повода научиться; наверное зря, потому что ему всегда нравилось не просто слушать музыку, а ее слушаться, двигаться в заданном темпе и ритме, как она велит. Днем, когда на улицах полно народу, сдерживался, конечно, только слегка ускорял или замедлял шаг. Но ночью-то можно дать себе волю, прыгать, вертеться, бежать.

Вот и сейчас мчался вприпрыжку, причем иногда – вслепую, закрыв глаза. Это, на самом деле, редкое удовольствие – зажмурившись, нестись по совершенно пустой улице, время от времени бросать быстрый взгляд на дорогу, проверять, не отклонился ли от заранее намеченной траектории, не занесло ли куда-нибудь вбок, не появилось ли посреди тротуара какое-нибудь нежелательное препятствие, вносить необходимые коррективы и снова закрывать глаза. Через несколько минут такой прогулки окончательно перестаешь понимать, как работает твое зрение, что ты видишь, что ощущаешь каким-то тайным локатором, а что просто случайно угадываешь, где ты, кто ты, какого черта, что за дела. Это добровольное кратковременное непонимание каким-то образом уравновешивало вынужденное фундаментальное, на которое он был обречен обстоятельствами: мне легко, я в игре, все – игра. Когда пытаешься объяснять, звучит не особенно убедительно, но пока не объясняешь, а просто чувствуешь то, что чувствуешь, ты играешь, тебе интересно, ты счастлив – чего же еще.

Обычно путь от дома к реке занимал минут двадцать пять, но сегодня плеер так удачно его подгонял, что всего за четверть часа добрался. Все равно не ровно в полночь, как ему втайне хотелось – непонятно зачем, просто так, потому что это красиво. «Потому что красиво» – самый убедительный аргумент. Но ладно, главное, не поленился, не остался дома, пришел, – думал Эдо, стоя на узком пешеходном мосту.

Стоять неподвижно и смотреть на текущую воду, не жмурясь, практически не моргая, сейчас, после прогулки почти вслепую, почти бегом, оказалось совершенно ошеломляющим переживанием. Трансцендентальная медитация, или что там еще на эту тему придумали. В общем, оно. Вода светилась, как будто на дне зажгли неяркие лампы, воздух тек, как сама река, во все стороны сразу, явственно подпрыгивая на каких-то незримых камнях, даже небо, казалось ему, раскачивалось, то приближалось на почти опасное расстояние, то становилось далеким, как в безоблачный летний день. Голова закружилась, и он обеими руками крепко вцепился в перила, словно мост был корабельной палубой и начинался шторм.

Впрочем, через пару минут его отпустило, небо остановилось, голова перестала кружиться, речная вода – мерцать, воздух – течь и подпрыгивать, а мост – ощутимо раскачиваться под ногами. В общем, все хорошо, что хорошо кончается, – умиротворенно заключил Эдо. И поспешно добавил: при условии, что оно кончается не навсегда.

Достал из внутреннего кармана флягу с домашней яблочной водкой; ну то есть дома, на Этой Стороне, напиток называют «яблочной водкой», хотя крепостью до здешней водки он не дотягивает. Но приятная штука с внятным яблочным ароматом, прозрачная, как водка – собственно, как вода. Ему нравилось пить на Другой Стороне напитки из дома, слушать здесь домашнюю музыку, курить домашние сигареты, даже еду оттуда иногда приносил с собой; ну, то есть как еду – пакет леденцов, печенье, то, что можно купить на бегу, в университетском буфете, сунуть в карман и забыть, а потом обнаружить, почти машинально сунуть в рот и целую секунду, а если повезет, то и две, искренне не понимать, где находишься. Потому что, пока грызешь какой-нибудь домашний сухарик, вдыхая воздух Другой Стороны, чувственные ощущения посылают тебе противоречивые сигналы, два совершенно разных, фундаментально несовместимых «ты здесь». Это, по идее, должно было сводить с ума, но его, наоборот, успокаивало. Единственный способ не только умом, но всем телом

снова и снова, всякий раз как впервые узнавать правду о себе.

Вот и сейчас одного маленького глотка домашней яблочной водки оказалось достаточно, чтобы голова опять пошла кругом, так что свободной рукой снова вцепился в перила – самому смешно, а что делать, надо хоть за что-то держаться, когда ты сам себе сильнодействующий психоделик и не то чтобы собираешься прекращать. Щедро плеснул водки в реку. Вильняле выпивку любит. Собственно, это было первое, что он об этой речке узнал, и с тех пор считал своим долгом напоить ее при всяком удобном случае. А сегодня так вообще специально за этим пришел.

Река, как всегда после угощения, зажурчала громче и даже, кажется, потекла быстрее. Хотя почему, собственно, «кажется»? Давно мог привыкнуть, так всегда происходит. Будь ты хоть трижды скептик, что в твоем положении так нелепо, что уже почти мило, глупо упорно не верить собственным глазам и ушам.

– Вот это вы сейчас доброе дело сделали, – одобрительно сказал знакомый голос не то прямо над самым ухом, не то вообще в голове. – Такое доброе, что застукай вас за ним шеф Граничной полиции, непременно бы каким-нибудь страшным штрафом оштрафовал.

– А чего штрафовать, если дело доброе? – флегматично спросил Эдо.

Прикидывался, конечно. На самом деле был рад этому голосу, как начинающий чернокнижник, с первой же попытки заполучивший стаю огнедышащих демонов в самую кривобокую из своих пентаграмм.

– Чтобы выразить уважение к масштабам вашего преступного деяния, – объяснил голос. – Стефан не штрафует за всякую ерунду. Только за выдающиеся прегрешения. Безответственно лить в наши местные водоемы напитки с изнанки, не задумываясь о возможных последствиях – самое то. Причем реке-то понравилось. Давно ее настолько довольной не видел. До сих пор, по-моему, никому в голову не приходило принести ей угощение с Этой Стороны. Даже мне. И это обидно. Обскакали вы меня!.. А почему вы не оборачиваетесь? Вряд ли мой лик ужасней, чем все то, что вы уже неоднократно видели раньше. Или опасаетесь, что под вашим пристальным взглядом я в воздухе растворюсь?

– Опасаюсь, – подтвердил Эдо. – Ликом вы меня не то чтобы часто балуете. А голоса в голове я не особо люблю.

– Голоса в голове я и сам не очень-то, – признался голос в голове. – Тоже когда-то от них пострадал. Но они, как потом оказалось, не нарочно меня изводили. Это просто период такой, говорят, неизбежный – когда стоишь на пороге между человеческим миром и миром духов, уже не здесь и еще не там. Совершенно невыносимо, потому что пути назад уже нет, но ты об этом пока не знаешь. И вообще ни черта не знаешь наверняка, кроме того, что вот теперь-то окончательно съехал с катушек, дальше так продолжаться не может, спасения нет. И при этом боишься, как еще никогда в жизни ничего не боялся, внезапно исцелиться от наваждений и прийти в былого бессмысленного себя. Короче, ужас кромешный. Но потом, конечно, периодически впадая в сентиментальность, вспоминаешь этот кошмар с необычайной нежностью, как прекрасные, интересные, я бы сказал, романтические времена.

– С сентиментальностью у меня уже прямо сейчас все в порядке, – усмехнулся Эдо. – Я сегодня только потому сюда и пришел, что вспомнил, как мы с вами на этом мосту отлично стояли и пили какую-то феерическую настойку. А тогда казалось – жуть и кошмар.

– Вот кстати о настойках, давайте вашу флягу сюда, если там что-то осталось, – решительно сказал голос, и его обладатель наконец-то вышел из темноты и встал рядом. С виду – человек человеком, только одет не по сезону, в какой-то легкомысленной разноцветной рубашке и светлых льняных штанах.

Взял флягу, сделал глоток, одобрительно хмыкнул:

– Не понимаю, почему ваши контрабандисты толпами к нам за выпивкой бегают. Лучше бы на продажу таскали. Уж насколько я избалован Тониными настойками, а все равно хорошо. И главное, вовремя. Замерз, как собака. Только не говорите, что сам дурак. Я-то, может, и дурак, но летний наряд – не моя идея. Просто одежда сама меня выбирает гораздо чаще, чем ее выбираю я. И мои пути меня выбирают сами. И дела. Я, конечно, вношу свои коррективы, но, скажем так, с переменным успехом. Такой парадокс: чем больше можешь, тем меньше выбираешь, что именно в каждый конкретный момент будешь мочь. Из персоны превращаешься в происшествие; на самом деле, даже смешно. Впрочем, говорят, это тоже просто такой период. И тоже однажды пройдет.

– Да ладно вам, – сказал Эдо, отбирая у него флягу. – Не очень-то вы похожи на человека, за которого кто-то что-то будет решать. То есть вы вообще ни на какого человека не похожи, но на такого – меньше всего.

– Ну да, я в принципе вредный, – легко согласился тот. – Но сила, которая за меня все решает, тоже вредная. В этом смысле жизнь довольно справедливо устроена: твоя персональная магия всегда будет похожа на тебя самого. Думаете, я знаю, как и зачем оказался в полночь на берегу реки? То есть теперь-то как раз понятно, зачем: чтобы вам было с кем выпить. Я имею в виду, кроме реки. Все-таки людям нужны антропоморфные собутыльники; я, если что, только за. Но на вопрос «как» у меня все равно пока нет ответа. Я вообще-то просто к Тони зайти собирался. Причем совершенно точно в пальто. Что оказался не там, куда шел, это вполне нормально, давно привык. Но от своего пальто я такого вероломства не ожидал! Единственная разумная версия – был момент, когда мне захотелось в туман превратиться. Видимо, пальто тогда все-таки превратилось. А я передумал. Не стал.

– Разумная версия, – с удовольствием повторил Эдо.

– С учетом контекста – да. Это я вам говорю, как опытный… скажем так, мыслитель. Который каких только контекстов не научитывался на своем веку.

Эдо вздохнул – то ли сочувственно, то ли завистливо, этого не понял и сам. Отдал ему флягу, снял с шеи шарф и тоже отдал. Сказал:

– С учетом контекста, в смысле, погоды, я бы на вашем месте, лишившись пальто, сразу превратился в туман.

– Я бы сам на своем месте в него превратился. Да вообще все равно во что, лишь бы оно не умело мерзнуть. Но тогда вы бы остались без собутыльника. А ваши интересы для меня превыше всего.

– Почему вдруг? – удивился Эдо. – С каких это пор?

– Честно? Понятия не имею, – рассмеялся тот. – Но думаю, просто потому, что я внезапно ощутил себя чудом. С каждым порой бывает, и вот на меня нашло. Вы учтите, это только звучит красиво, а на самом деле довольно неприятное ощущение, как будто в самой глубине твоего существа очень сильно чешется не

пойми что. Я – чудо, мне срочно надо с кем-то случиться! А вы в этом смысле идеальная кандидатура, с вами постоянно случаются чудеса. Зря смеетесь; то есть вы смейтесь, если хотите, просто имейте в виду, что я серьезно сейчас говорю. В вас есть что-то вроде магнита, который их – нас – чудеса, короче, притягивает. Редкая штука, мало у кого найдется такой. Он не врожденный, конечно. И уж совершенно точно не зависит от того, здесь вы родились, или на Этой Стороне, или в какой-нибудь совсем невообразимой реальности. Мне кажется, этот магнит постепенно отрастает в течение жизни, но только у тех, кто живет так, что чудесам на это интересно смотреть.

– Тогда понятно, чего я всю жизнь так выпендриваюсь, – невольно улыбнулся Эдо. – Как будто не живу, а пишу роман с собой в главной роли. И заботит меня не благополучие центрального персонажа, а, мать его, нарратив.

– Тоже так жил, – кивнул гений места, кутаясь в шарф из шерсти ушайских коз, который в его руках как-то незаметно вырос почти до размеров пледа. – И посмотрите, до чего докатился! Стою на мосту среди ночи, практически совершенно раздетый, клянчу выпивку у добрых прохожих в вашем лице… я хочу сказать, у вас прекрасный прогноз.

Рассмеялся, отдал ему опустевшую флягу, почти беззвучно шепнул: «Спасибо», – вроде бы коснулся ладонью плеча, но Эдо не ощутил прикосновения, да и нечего тут ощущать, никого рядом не было, только над мостом клубился туман, густой, молочно-сизый, как дым, и пахнущий тоже дымом, не уютным домашним печным, а горьким, как от погашенного костра.

Домой возвращался совершенно обычным образом. То есть пешком, под крупными хлопьями мокрого снега, без музыки и не вприпрыжку, потому что устал. Думал: со мной нынче случилось чудо, выпило мою водку и сперло шарф. Это почему-то делало его совершенно счастливым, хуже, в смысле, даже лучше, чем в юности, когда со свиданий шел. Но шарф, кстати, в итоге оказался на его шее, уже возле самого дома; на самом деле, спасибо, что тогда, а не раньше: шарф стал раза в три больше прежнего, мокрый, тяжелый от впитанной шерстью воды, и не просто очень холодный, а какой-то космически, ладно, предположим, всего лишь как из верхних слоев атмосферы – ледяной.

2. Зеленая богиня

Состав и пропорции для 4 коктейлей:

водка – 240 мл;

зеленый чай – 1 чайная ложка, или 1 пакетик;

сахар – 100 мл;

руккола – 200 мл (2 упаковки);

парниковый огурец – 1;

перец халапеньо – 1;

свежий лимонный сок – 120 мл;

веточки мяты (для украшения); лед.

Водку и чай смешать в банке (или опустить чайный пакетик в водку). Накрыть крышкой и дать настояться 8 часов. Процедить через ситечко, чтобы избавиться от чаинок. Накрыть крышкой и охладите.

Сахар залить 150 мл воды, довести до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Снять с огня. Понемногу, постоянно перемешивая, добавлять рукколу. Накрыть сироп и дать ему настояться 5 минут, затем процедить через мелкое сито. Накрыть и остудить.

Отрезать 12 тонких ломтиков огурца.

Остаток огурца разделить на 4 части, измельчить в шейкере. Добавить в шейкер кусочек перца халапеньо, измельчить. Добавить в шейкер 60 мл водки с зеленым чаем, 30 мл сиропа рукколы и 30 мл лимонного сока. Добавить лед и энергично

встряхивать около 30 секунд. Процедить коктейль в стакан «коллинз», наполненный льдом, украсить мятой и 3 ломтиками огурца. Так же приготовить остальные порции.

При желании, настойку водки на чае можно сделать заранее, но не более чем за месяц до приготовления коктейля. Сироп из рукколы можно приготовить не более чем за 3 дня. Ингредиенты следует хранить в охлажденном состоянии.

Эна здесь

Эна стоит в лесу на краю обрыва; строго говоря, это самый центр города; ладно, почти самый центр, Ужупис, Заречье, когда-то бедняцкий и хулиганский, а ныне хипстерский и богемный, дорогой элитный район. Однако холмы, заросшие лесом, здесь самые настоящие. В таких местах особенно ясно видно, что наш город не просто на месте леса построен, как это обычно случается с городами, а однажды пророс сквозь лес.

Эна, воплощенная бездна, стоит на краю обрыва и сама понимает, насколько это смешно. Потому и стоит, что это хорошая шутка. В смысле, ради шутки Эна остановилась, сделала паузу, чтобы холм и лес, и обрыв успели оценить ситуацию и посмеялись вместе с ней. Но пришла она не за этим, конечно. А потому, что ей пора отдохнуть.

Эна делает шаг; со стороны это выглядит совершенно чудовищно: немолодая рыжая тетка в очках, в теплой куртке и удобных ботинках только что спокойно стояла, любуясь окрестностями, и вдруг зачем-то прыгнула в пропасть. Ну, то есть не такая уж великая пропасть, но чтобы человеку расшибиться в лепешку, хватит вполне.

К счастью, никто сейчас на Эну не смотрит. И не видит, как летящая камнем вниз рыжая тетка исчезает, почти достигнув, но еще не коснувшись земли. Так и было задумано: Эна порядком устала от тетки. Еще не настолько, чтобы выходить из игры, но небольшая передышка не помешает, – думает Эна, заполняя собой обрыв. Какое-то время этот обрыв побудет бездонным; обрыву

приятно, земле, на которой построен город, полезно, как всякое невозможное, а Эна наконец отдохнет. Для воплощенной бездны развоплотиться до хоть какого-то условного подобия бездонной пропасти – желанный отдых, как в мягком кресле после трудного дня подремать.

Пока бездна Эна заполняет собой обрыв, успевает стемнеть; впрочем, в декабре это несложно, в декабре у нас что ни сделай, можешь быть совершенно уверен, за это время непременно успеет стемнеть. Короче говоря, когда рыжая тетка в очках, такая отдохнувшая и довольная, что жители окрестных домов, подхватив ее настроение, внезапно бросаются обниматься друг с другом, благодарить за все на свете и безответственно клясться в вечной любви, снова появляется на краю обрыва, вокруг уже царит глубокая ночь, хотя на часах всего половина седьмого вечера. Но часы и сами не особенно верят себе.

О, да я же опаздываю на работу! – восхищенно думает Эна. – Чего доброго, действительно опоздаю! По-настоящему, как это принято у здешних людей. Это удивительное событие обязательно надо будет отметить, – говорит себе Эна. И неторопливо спускается с холма на улицу Кривю по удобной широкой тропинке, которой в этом месте отродясь не было, но теперь будет, а куда ей деваться, Эна балованая, ни в обход, ни, тем более, напролом через кусты ни за что не пойдет.

Стефан

Стефан устраивается поудобнее в кресле, вытягивает ноги и лениво прикидывает, чего добавить до полного счастья – пива? чаю? еду? одеяло? Но, положа руку на сердце, ему и так хорошо. Весь день, длившийся почти трое суток, об этом мечтал – как остановится, усядется в кресло и ничего больше делать не будет, и думать тоже не будет, и, упаси боже, с кем-нибудь говорить. И вот наконец все получилось, сбылось.

Стефан, потягивается, улыбается от удовольствия, закрывает глаза. Так сладка эта долгожданная пауза, что велик соблазн забить на пиво и ужин, даже домой не идти, остаться тут до утра, сидеть, не меняя позы, дремать, но не засыпать окончательно, чтобы каждую минуту упоительной неподвижности и бездеятельности осознанно, с наслаждением пережить.

Никуда не пойду, – думает Стефан. Эта тягучая медленная мысль заполняет все его существо, растекается теплым маслом по пустой от усталости голове. – Никуда не пойду, ничего мне больше не надо, всего достаточно, идеальный момент, – думает Стефан и тут же, вопреки всякой логике, подскакивает, оглядывается в поисках куртки, хватает ее, сует руку в рукав, второй рукав натягивает уже в коридоре и вызывает лифт, которого отродясь не было во Втором Полицейском Комиссариате на улице Альгирдо, но это совершенно не мешает ему приехать на четвертый этаж, которого здесь тоже нет. Можно было бы спуститься по лестнице, в отличие от лифта, она вполне настоящая, по крайней мере, начиная с третьего этажа, или просто сразу оказаться внизу, остальные сотрудники Граничного отдела полиции всегда так делают, но Стефан любит лифты, не накатался в детстве, в его детстве не только лифтов не было, но и многоэтажных домов.

В жизни шамана есть свои неудобства; их не то чтобы много, вполне можно жить. Но иногда приходится внезапно срываться с места и нестись неизвестно куда, потому что твой город срочно, вот прямо сейчас хочет с тобой говорить, а игнорировать желания города, в котором находишься – ну, можно, конечно. Но, во-первых, крайне непросто, а во-вторых – зачем?

Стефан не выбирает маршрут, точнее, маршрут сейчас выбирает не он; Стефан умеет слушаться в тех редких случаях, когда сам того хочет, а сейчас он, конечно же, хочет, ему интересно, куда он в итоге придет. Он идет по улице Альгирдо до уродливой громадины ЗАГСа на краю бывшего Лютеранского кладбища, через парк выходит на вершину холма. Раньше здесь стояло еще одно угребище, даже похуже ЗАГСа, почти по-человечески мертвый, как редко бывают мертвы нежилые здания, Дворец профсоюзов натурально гнилым зубом на вершине холма торчал, но его наконец-то снесли, и даже что-то новое уже начали строить на старом фундаменте; Стефан пока не особо вникал, что именно, человеческие дела – не его забота, хотя, будем честны, регулярно хочется некоторым человеческим деятелям по башке надавать. Ну, – думает он, обходя забор, огораживающий стройку, – хуже, чем было, точно не будет, просто некуда хуже. А если и будет, долго не простоит. За холм Тауро Стефан с недавних пор совершенно спокоен. Все места, где открыты Проходы, сами диктуют людям, что там следует делать, и могут за себя постоять.

Стефан мог бы спуститься по лестнице, но, конечно, идет вниз прямо по склону холма, благо трава не скользкая, хорошо в этом году начался декабрь, бесснежный и не морозный, и такой пасмурный, что почти круглые сутки темно. Стефану нравится хмурая теплая зимняя тьма; впрочем, ему все нравится, в другой год он точно так же будет радоваться солнцу, морозу, снегу и совершенно искренне утверждать, что именно такая погода лучше всего. Был бы рядом вулкан, его извержению Стефан бы тоже обрадовался. Возможно, извержению – больше всего. Впрочем, он и без вулканов живет, не тужит, вприпрыжку бежит вниз по склону, но вопреки законам природы, обстоятельно описанным в учебниках физики, не быстрей и быстрей, а все медленней, словно это не спуск, а подъем. Стефан хорошо понимает, что это значит – его собеседник уже пришел. То есть город сейчас медленно спускается вниз с холма вместе с ним.

Когда-то очень давно Стефан, было дело, вбил себе в голову, будто он сам и есть город, вернее, его человеческая персонификация. Понятно, почему – молодой был, наивный, увлекающийся и, мягко говоря, не особо обремененный знаниями, которые просто неоткуда было тогда получить. Неудивительно, что вечно путал собственную волю с чужой, проявляющейся через него.

Это заблуждение вскоре развеялось, потому что Стефан даже не с юности, а с младенчества умный, хоть и любит говорить при всяком удобном случае, что раньше (да еще буквально на прошлой неделе) был дураком. И чуткий. И не особо подвержен иллюзиям, то есть крайне редко видит вещи не такими, каковы они есть. В общем, он быстро понял, что воля города отлична от его собственной. И характер, на самом деле, хоть и слишком человеческий для такого сложного существа, как город, совершенно другой. И даже цели не всегда совпадают. Вернее, к более-менее общим целям – чего-нибудь невозможного, да побольше, чтобы стало наконец по-настоящему интересно играть – у Стефана с самого первого дня прилагалась отдельная, собственная: защитить этот город от всех мыслимых бед и от него самого. Потому что он псих, это всегда было ясно. Город, чей характер настолько похож на человеческий, просто не может психом не быть.

Потом Стефан долгое время считал, будто те, кого называют «Старшими духами-хранителями», поочередно становятся персонификацией города. Но и это, конечно, оказалось ошибкой. Не настолько все просто, правда сложней и, пожалуй, страшней. Город всегда готов проявить свою волю через любого, кто

подвернется под руку и окажется достаточно восприимчивым, но это скорее похоже на то, как актер говорит за куклу и управляет ее движением, а существует при этом отдельно, сам по себе.

Все равно это, скажем так, трудное счастье никто не мог подолгу выдерживать. Старшие духи-хранители здесь часто сменялись – кто-то держался несколько лет, а кто-то хорошо, если день. Город – слишком огромное и сложное существо, люди просто физически не способны играть с ним на равных. Одни сбегали отсюда подобру-поздорову, а оставшиеся долго не жили. Шли вразнос, спивались, сходили с ума, накладывали на себя руки. И город всякий раз шел вразнос и сходил с ума вместе с ними, потому что совсем не того он ждал от такого сотрудничества, хотел не боли и не безумия, а веселой игры, но выходило, как выходило. Он и сам умереть от горя пытался, да Стефан ему не давал – год за годом, столетие за столетием. Сам в этой изначально, с первого хода навсегда, без шансов, как в ту пору казалось, проигранной битве чуть не полег. Сколько раз собирался послать все к черту; собственно, и посылал, и сбегал. Для того, кто уже стал своим в мире высших духов, найдется много других занятий, и почти все они интересней, чем нянчиться с сумасшедшим городом, построенным людьми в мире людей. Но, конечно, всегда возвращался, потому что сердце не камень. Это чертово сердце – слабое место Стефана, обратная сторона его силы. Что бы он о себе ни рассказывал, кем бы ни прикидывался, какие бы роли ни примерял, правда о Стефане много проще, чем ему самому бы хотелось: им всегда движет любовь.

Ну, в итоге, все хорошо закончилось. То есть не закончилось, а началось. Стефан сам придумал – говорят, никто ни в одном из миров до него так не делал – призвать в человеческий город всемогущее существо. А чтобы одним своим вздохом не превратило в пыль весь человеческий мир, излишки его всемогущества отдать подходящему человеку, крутому и обреченному, благо такие способны на все. После чего Стефан нанял обоих на должность Старшего городского духа-хранителя. Звучит безумно даже для него самого. Но на практике оказалось – именно то, что надо. И этим двоим на пользу, и городу наконец есть с кем играть не просто на равных, а даже в роли любимого младшего брата, которого балуют и развлекают, что ни день, то новая игра.

Стефан спускается с холма – слишком медленно для идущего вниз по крутому склону человека, но все равно слишком быстро для города, не привыкшего к человеческой ходьбе. Они не то чтобы часто вместе гуляют. Такие прогулки не

только огромное счастье, но и очень тяжелое физическое упражнение, а Стефан совсем не спортсмен. Хотя вот прямо сейчас, когда город смотрит на себя его человеческими глазами и только что не пищит от восторга – ууу, я какой! – счастье такое острое, что Стефан готов длить его бесконечно. Однако дело есть дело. Если встретились ради разговора, значит надо сразу поговорить. А то знаю я нас, – думает Стефан, – будем бесцельно бродить до рассвета, пока я не лягу пластом и не усну на сутки – счастье, если не прямо под ближайшим кустом.

Что у тебя стряслось? Что не так? Чего не хватает? Или просто соскучился? – думает Стефан и чутко прислушивается к себе, потому что ответом станут – не то чтобы именно мысли, скорее образы, пришедшие изнутри. И первым делом явственно ощущает, как его обнимают невидимыми руками, одновременно снаружи и изнутри; ну, это он всегда умел лучше всех на свете, – думает Стефан. – Знает, как веревки из меня вить.

Но понимание не уменьшает радости. Обниматься со всем городом сразу – лучшее, что вообще может быть.

В таком состоянии Стефан очень медленно, примерно за час, хотя тут десять минут обычным человеческим шагом, доходит до набережной реки Нерис. И еще за полчаса добирается до Зеленого моста, соединяющего улицу Вильняус с улицей Кальварию, Левый берег с Правым, Старый город с районом Шнипишкес, Стефанову заповедную территорию с террой не то чтобы вовсе инкогнита, но что-то вроде того. Формально, на Правом берегу Нерис – тот же город Вильнюс, что и на Левом, а на самом деле, хрен знает что. На изнанке Левого Берега находится шумный веселый город с трамваями, ярмарками и пляжами, а на изнанке Правого иногда бушует тамошнее Зыбкое море, а иногда там нет вообще ничего.

Стефан доверяет реальности – если она устроена так, значит это зачем-нибудь надо – вероятно, для пресловутого равновесия, которое обожает Вселенная, хлебом ее не корми. Чтобы тайна уравновешивалась отсутствием тайны, избыток сложности мироустройства – почти пугающей простотой, а наше невозможное бытие – вопиющим ничем. Поэтому он не суется на Правый берег без особой необходимости, вмешивается в тамошние дела только в самом крайнем случае – когда надо спасать людей от опасных хищников, поселившихся в переулках за Кальварийским рынком, в лесах на окраинах или в человеческих снах.

Стефан стоит на Зеленом мосту, днем обычно под завязку забитом транспортом, а сейчас совершенно пустом, подсвеченным снизу яркими зелеными фонарями, и смотрит на реку – всем городом сразу, а не только собой. И все его существо внутри и снаружи натурально звенит от веселого нетерпения – пошли туда погуляем, самое время, пора, пошли!

Все с тобой ясно, красавчик, – думает Стефан. – Вертел ты Вселенную с ее равновесием. Решил, что нам пора вместе прогуляться по Правому берегу. Ладно. Пора, так пора.

Стефан, Эна

На исходе почти бесконечной декабрьской ночи, то есть, примерно в половине восьмого утра, Стефан подчеркнуто твердой походкой, но не касаясь земли – для этого он слишком устал – идет по улице Кальварию в направлении Зеленого моста. Приближаясь к реке, он ускоряет шаг, словно его притягивает магнитом; собственно, его и правда притягивает – мост и Старый город, который за ним. Но буквально метрах в ста от реки Стефан неожиданно – в первую очередь, для себя самого – сворачивает направо и ныряет в темную подворотню, заходит во двор, освещенный только окнами квартир, жильцы которых проснулись и собираются на работу. Двор проходной, в соседний можно подняться по лестнице, и Стефан по ней поднимается, с несвойственной ему обреченностью думая: автопилот, ты дурак.

Под этим лозунгом протекает все его дальнейшее путешествие через темные, глаз выколи, как говорят о такой темнотище, дворы; ему, конечно, самому интересно, какого хрена сюда поперся, что тут случится и чем дело кончится, но интерес сейчас сугубо теоретический – Стефан устал настолько, что его уже почти нет. То немногое, что осталось от Стефана, меланхолически отмечает: вот как оно бывает, когда внезапно возвращается юность – ты снова в полной прострации, сам не знаешь, что делаешь и зачем, но перестать не можешь, потому что ты уже не человек, а процесс. И дурак, конечно, каким был тогда. Надеюсь, хотя бы наполовину такой же везучий, – на этом месте Стефан внезапно упирается лбом в фанерную дверь дровяного сарая – откуда он вообще взялся? Не было у меня на пути никакого сарая, они вон, в стороне стоят, – думает Стефан, но дверь поддается, и он не столько заходит, сколько

вваливается в помещение. И, оглядевшись, вздыхает:

– История всей моей жизни: шел домой, а пришел в кабак.

Впрочем, в Тонином кафе сейчас пусто, свет горит только в кухне над мойкой, а в зале царит полумрак. Что на самом деле совершенно нормально – в половине-то восьмого утра. Чай не кофейня для офисных клерков, а серьезное, солидное заведение для лю… разнообразных существ, которые, вне зависимости от индивидуального коэффициента хтоничности, все как один крепко спят по утрам.

– История успеха. Жизнь-то у тебя удалась, – откликается голос, похожий на женский, если слушать просто ушами, а если всем своим существом… Ох, нет. Не сейчас.

Стефан настолько не готов к ответственной встрече с Бездной – он сейчас вообще ни к чему не готов! – что в сердцах восклицает:

– Твою мать, только не это, нет!

В ответ раздается такой ликующий смех, что Стефан, минуя гнев, торг и депрессию, мгновенно переходит к стадии «принятие». И спрашивает:

– Слушай, а какой антоним у слова «сгинь»? Не «появись» же? Короче, вот это, пожалуйста, сделай – антоним. Каким бы он ни был.

– «Появись» – вполне нормальный антоним, не понимаю, чем он тебе не угодил, – рассудительно говорит Бездна Эна и выходит навстречу Стефану из-за барной стойки. То есть появляется, как он и просил.

Стефан смотрит на высокую широкоплечую тетку с копной ржаво-рыжих волос так, словно впервые увидел. Впрочем, сейчас ему все впервые – так устал этой ночью, что практически умер, а теперь внезапно воскрес. Наконец спрашивает:

– Что ты тут делаешь вообще?

– Работаю в поте лица согласно контракту, – пожимает плечами Эна, Старшая Бездна Вселенной, влиятельнейшая из Бездн. И, сжалившись над почти новорожденным Стефаном, который таращит на нее полные младенческого изумления глаза, объясняет: – Сегодня внезапно случился какой-то лютый аншлаг. Тони к утру натурально упал, где стоял. Он хороший мальчишка, но не особо выносливый… впрочем, зря придираюсь, по человеческим меркам он – титан. Я зачем-то исполнилась сострадания и вызвалась вымыть посуду. Теперь понимаю, что зря. Кто вообще придумал такую глупость – мыть посуду после пирушек? Перебить и выбросить проще в сто раз.

– Чокнусь я с вами, – говорит Стефан, опускаясь на табурет. – Этот ваш с Тони контракт – вообще ни в какие ворота, худшее мошенничество со времен гастролей Кетцалькоатля в Туле… я имею в виду, что только ради того, чтобы стать свидетелем этого вопиющего безобразия, уже имело смысл родиться на земле человеком и дожить до наших смешных времен. Но откуда вы здесь вообще взялись? Как кафе оказалось на Правом берегу?

– А ты как тут оказался?

– Так получилось… – начинает Стефан, с неподдельным ужасом прикидывая, как человеческими словами рассказывать о прогулке. С другой стороны, это же Эна. Зачем ей человеческие слова?

– Вот именно, – улыбается Эна. – Каких тебе еще объяснений? Так получилось, и все дела.

Будучи воплощением милосердия и справедливости одновременно, она ставит перед гостем стакан, наполненный – ай, неважно, – думает Стефан, – да хоть компотом, из этих рук мне все подойдет.

Стефан залпом выпивает то, что было в стакане, ставит его обратно на барную стойку и говорит:

– Так и не понял, что это было. То ли речная вода, то ли чистый спирт.

– Что тебе надо, то там и было, – пожимает плечами рыжая тетка. – Так что тебе видней.

– А. Значит в стакане был крепкий сон, – кивает Стефан, ощущая, как его тело становится то ли светом, то ли горячим ветром, то ли текущей водой, а на самом деле просто нормальным телом, готовым к работе, веселью, чудесам, разговорам, жизни, смерти – вообще ко всему, как положено телу шамана, иначе зачем оно нужно, проще сменить, чем терпеть.

– Ну наконец-то, – улыбается Эна. – Привет. Смотреть больно было на то, что вместо тебя сюда заявилось. Таким усталым я тебя, пожалуй, еще не видела. Ты что, небо к земле всю ночь пришивал? А потом отпарывал, потому что шов получился неровный?

– Что-то вроде того, – вздыхает Стефан. – Ай, да ладно бы небо. У меня тут город чокнулся на хрен. Он, конечно, всегда был чокнутый, но сегодня что-то совсем.

– Рада за него, – безмятежно откликается Эна и снова ставит перед гостем стакан. Наливает себе, садится рядом. – За это и выпьем. Хорошенько тебя подпоить – таков мой план. Ну то есть как – план, просто надежда: а вдруг у тебя спьяну язык развяжется? Я в твои дела, как ты мог заметить, не лезу. Как выражается наш с тобой общий приятель, не для того моя роза цвела. Но вдруг ты сам захочешь все рассказать? Пожаловаться на… предположим, трудности в личной жизни. Я не первый день работаю в баре и успела заметить, что люди, подвыпив, часто жалуются друзьям.

– Где ты тут людей отыскала? – невольно улыбается Стефан.

– Ладно тебе. Люди здесь часто бывают, мало ли, что во сне; как по мне, между спящим и бодрствующим человеком особой разницы нет. Да и всех остальных не будем списывать со счетов. Когда существо выглядит как человек и разговаривает по-человечески, следует считать его человеком, пока оно не докажет обратное. Оборотни, между прочим, тоже обожают жаловаться на семейные неурядицы, в этом смысле они ничем не отличаются от людей. Даже Нёхиси, уж на что безмятежное всемогущее существо, а однажды весь вечер мне жаловался, что его никогда не мочат дожди. Ливень, все вокруг до нитки промокли, а ему – ну, максимум, капля брызнет на нос. Зря смеешься, это нам с тобой не проблема, а для него дожди – вполне себе личная жизнь.

Все еще досмеиваясь, Стефан прикладывается к стакану. Черт его знает, что там, вроде раньше здесь такого не пробовал. Но вкусная штука, факт. Впрочем,

у Тони в кафе все вкусно. Для того и нужны наваждения класса эль-восемнадцать, чтобы хоть где-нибудь установился рай. Например, у меня во рту, – думает Стефан. – И в горле. И в сердце. Во всем мне целиком.

Пьяным он себя совершенно не чувствует. Даже слегка хмельным. Просто безрассудно счастливым, как и положено всякому, кто выпивает в компании Бездны. Но почему-то все равно говорит:

– Город в меня беспардонно вселился и всю ночь таскал по Правому берегу. Туда и сюда. Типа смотри внимательно, слушай, чувствуй, не отворачивайся – это же тоже я.

– Ну, правильно, – невозмутимо кивает Эна. – Конечно, он. Кто же еще?

– А я, представляешь, до сих пор был совершенно уверен, что здесь не он, – признается Стефан. – Думал, формально город один и тот же, а по сути – совсем другой. Там… тут… короче, на Правом берегу все чужое. Не наше. Не так.

– И это тоже правда, – снова кивает Эна. – Сам знаешь, правда – сложная штука. Почти всегда состоит из взаимоисключающих частей. Да хоть на себя посмотри. Как будет выглядеть правда о тебе, если кто-то сдуру возьмется словами ее пересказывать другим дуракам? Кто ты, что ты? Человек, притворившийся духом? Высший дух, зачем-то застрявший в человеческом мире? Ты живой? Давным-давно рассыпался прахом? Ты здесь главный или просто слуга? Почти всемогущий? Или просто мечтатель? Ты есть? Или нет никакого тебя?

– Все сразу, конечно. Естественно, ты права. Кому и разбираться в таких вопросах, как не тебе.

– То-то и оно, – соглашается Эна, разливая по стаканам настойку на черт его знает чем; это не название и не состав, а просто констатация факта, что название и состав неизвестны, Эна с полки, не глядя, первую попавшуюся бутылку взяла.

– И с твоим городом то же самое, – наконец говорит она. – С чего бы ему быть устроенным проще, чем ты? Трудно ему с собой, как всякому сложному существу. Если бы я заявилась сюда с целью давать тебе советы и указания, первым делом сказала бы: «разберись уже с Правым берегом, что вообще за

бардак». Но я здесь, чтобы развлекаться, а не командовать, поэтому помалкивала. Ну и правильно делала. Город сам тебе это сказал.

– Да уж, сказал. Как по башке лопатой. А потом догнал и еще раз сказал. Непростая получилась прогулка. Я не самый нежный цветок на свете, но как за ночь не спятил, до сих пор не пойму. Я привык, что когда город со мной гуляет по собственным улицам, смотрит моими глазами сам на себя, он от такого приключения счастлив, а вместе с ним счастлив я. И вдруг наоборот получилось. Я как-то не ожидал. Сколько раз тут бывал, но до сих пор ничего особенного не чувствовал. Никаких душераздирающих внутренних драм. Думал, Правый берег – ну, просто не моя территория. Другой город, не наш. Мало ли, что формально считается. Но оказалось, совсем не формально. Просто город до поры до времени игнорировал свой Правый берег, как, знаешь, некоторые люди умеют игнорировать постоянную душевную боль. Но больше не может. Или просто не хочет – один черт. И от меня теперь не отстанет. Да я сам от себя теперь не отстану. Знать, что у нас проблема, и ничего с ней не делать – это не про меня.

– Отлично у тебя получается, подвыпив, жаловаться на трудности в личной жизни, – улыбается Эна. – Если честно, я слегка опасалась, а вдруг ты железный? Ну мало ли. Никто не без греха.

Стефан улыбается ей в ответ – ну как, улыбается, просто губы в улыбку растягивает. Не до веселья ему пока. Говорит:

– Главное, понимаешь, нет здесь ничего такого ужасного, чтобы с ума сходить. Нормально все с Правым берегом. Может, еще и получше, чем с нашим Левым. С человеческой точки зрения, я имею в виду. Людям здесь спится гораздо спокойней, реже грызет тоска, хищники из иных реальностей сюда обычно не добираются, только свои, испокон века жившие в здешних лесах, но они для местных привычные, знакомое зло, да и не такое уж великое зло по сравнению с тем, что на этой планете водится в некоторых интересных местах… Но для меня-то лютый ужас, конечно. По моим меркам, здесь, считай, жизни нет. Слой реальности плотный, как в обычных человеческих городах. И почти ни намека не то что на чудо, а на саму возможность страстно его желать. Ну, сам дурак, кто бы спорил. Ясно, почему такая беда с нашим Правым берегом – здесь нет меня. И всех нас.

– Раньше не было, – отвечает Эна. – А теперь, сам видишь, есть. Все сразу мало у кого получается. Шаг за шагом – так делаются непростые дела. Ты же взялся

превращать человеческий город в волшебный, вопреки не только здешним законам природы, но и общей людской судьбе, а это – ничего себе дело. Почти неподъемное на мой искушенный взгляд. Я сама – не сейчас, конечно, а когда была юной, только обещанием будущей Бездны и имела полное право играть в такие игрушки – решала бы эту задачу по частям.

– Об этом я даже не думал. То есть, может, и правда не смог бы заняться обоими берегами сразу. А может, и смог бы. Пока не попробуешь, не узнаешь, – вздыхает Стефан. – Но я был уверен, что так и надо, прикинь. Причем не просто дурной башкой сочинял, а вроде бы ясно видел: так надо для равновесия. Левый берег и Правый берег, наш чокнутый город и его скучная тень.

– Ну, в общем, правильно видел. Только это хреновое равновесие. Такое специальное равновесие здешнего мира – не потому что действительно надо уравновешивать, а просто чтобы не стало слишком хорошо, – говорит Эна. И, подмигнув, добавляет: – Не знала бы тебя как облупленного, сейчас бы и вывела на чистую воду. Как бы ловко ты ни прикидывался духом, а искренне считать подобное равновесие необходимостью может только человек! Больше ни одно разумное существо не способно породить и принять концепцию, будто всякая вещь уравновешивается своей противоположностью. А на самом деле никаких противоположностей нет. Во Вселенной торжествует разнообразие. Не скучная пара «плюс-минус», а «тырындык», «дырындык», «фыфырфук», «бушумбук» и, предположим, «бдымц». Но не только они, а еще бесконечное множество всего, чего пожелаешь. Ну или не пожелаешь, потому что просто в голову не придет.

– Понятно, – кивает Стефан. – Чего же тут непонятного. При случае передай Вселенной, что я ее обожаю. И тебя за компанию, если не возражаешь. Тырындык, дырындык, бдымц.

– За это и выпьем, – заключает Эна. – И за ваш Правый берег. Трудно пришлось бедняге, но в конце концов ему повезло.

3. Зеленая дымка

Состав и пропорции:

водка – 50 мл;

ликер «Triple Sec» – 25 мл;

ликер «Blue Cura?ao» – 25 мл;

лимонад; лед.

Бокал «хайбол» наполовину заполнить кубиками льда. Налить водку и ликеры. Долить лимонадом до верха и перемешать. Украсить долькой лимона или апельсина.

Сабина

Проснувшись, Сабина первым делом смотрит на свою левую руку, как будто привыкла носить часы. Но на ее левой руке не часы, а татуировка, змейкой обвившаяся вокруг запястья: короткая фраза на непонятном, не факт, что вообще существующем языке: «Атрэ хэоста». Смысла фразы Сабина не понимает, но откуда-то знает – помнит? придумала? ей приснилось? – что «хэ» звучит как шелест сухой травы на ветру, а гласные нарочито, почти неестественно долгие, из-за этого фраза звучит как заклинание, не настоящее, а из детского фильма-сказки. Гарри Поттер вполне мог так кого-нибудь заклинать.

Каждое утро Сабина смотрит на свою татуировку, иногда вспоминает про Гарри Поттера, и ей становится смешно. Может быть, – весело думает Сабина, по-турецки усаживаясь в постели – смысл заклинания именно в этом: чтобы меня по утрам смешить. Но в чем бы ни заключался смысл заклинания, перед тем как встать, Сабина обязательно произносит вслух: «Атрэ хэоста», – со всеми положенными вздохами и распевами. Она помнит, что произносить смешное заклинание обязательно надо вслух, но не помнит, почему. Но это нормально. Сабина вообще мало что помнит. Она давно привыкла жить почти без памяти о себе, как глухие живут без звуков, и ничего, как-то ориентируются в окружающем мире, чувствуют, угадывают, читают по губам. Самообладание, невозмутимость, хорошо поставленное дыхание, полный контроль над мимикой

и поведением, и никто в жизни не догадается, что ты помнишь хорошо если четверть совсем недавних событий и примерно сотую долю давних, да и то без особой уверенности – может, было, а может, пригрезилось; впрочем, особой разницы нет.

Наконец Сабина встает, идет на кухню, нажимает кнопку кофейной машины, теперь ее очередь читать заклинание: «Фыр-фыр-фыр». Фыр-фыр-фыр! – передразнивает машину Сабина по дороге в душ. – Воскрешающее заклинание «фыр-фыр-фыр», еще и посильней моего «атрэ хэоста», – веселится Сабина, откручивая кран, сбрасывая халат, да так и застывает – голая, одна нога в душевой кабинке, вторая еще снаружи. На колено льется уже нагревшаяся, даже чересчур горячая вода, но Сабина этого не замечает, она сейчас вообще ничего не чувствует, только повторяет почти беззвучно: «атрэ хэоста, атрэ хэоста». И даже не вспоминает, скорее заново понимает, для чего нужна эта формула, зачем она написана на руке, что делает с человеком, и почему эти два слова, что бы с тобой ни случилось, обязательно надо произносить по утрам.

Впрочем, уже секунду спустя Сабина ставит в душевую кабинку вторую ногу и крутит кран, чтобы отрегулировать температуру воды. Благо ни к внезапно нахлынувшим воспоминаниям, ни к провалам в памяти ей не привыкать.

Ну надо же, – думает Сабина, стоя под уже не слишком, а в меру горячим душем, – значит, когда мне казалось, что я уже очень долго живу, мне не казалось! Ни хрена мне не казалось. Так все и есть.

Интересные дела, – думает Сабина, мокрая, завернутая в огромное полотенце, сидя в кресле, с чашкой кофе в руках. – Это я, значит, каждое утро произношу какое-то хитроумное заклинание, позволяющее продлить жизнь тела. Уже… мама дорогая, черт его знает, сколько. Двести? Триста? Четыреста лет? И как-то до сих пор не спалилась. Вот интересно, почему? И кстати, откуда я его знаю? Кто я вообще такая? Сумасшедшую дуру отбрасываем, во-первых, самая очевидная и поэтому скучная версия, а во-вторых, сумасшедшие дуры обычно так хорошо не устраиваются. Ну и кто я такая, черт побери?

Кара, Ханна-Лора

– До смешного доходит, – сказала Кара и в сердцах пнула попавший под ногу камешек так, что он улетел на другую сторону улицы; счастье, что по башке кому-нибудь не угодил. – Нет, правда, не припомню такого. Ищу ее – сколько? уже два месяца?..

Ханна-Лора кивнула:

– Ну да, примерно. Впервые я о ней от тебя услышала в начале октября.

– В городе, который знаю, как собственные ладони! – подхватила Кара. – И не встретила до сих пор. Я ей даже записку оставила в кофейне, где она иногда сидит. Нет, ну а что было делать? Не караулить же там круглосуточно. По словам хозяев, она к ним примерно с сентября заходит то раз, то дважды в неделю, то вообще чуть ли не каждый день. Обычно просто пьет кофе, но пару раз задерживалась надолго, гадала всем желающим по Книге Перемен. Кто такая, откуда, никто понятия не имеет; то есть я пока не нашла никого, кто был бы с нею не шапочно, а более-менее близко знаком. Известно только имя – Сабина. По крайней мере, так она представляется, если спросить. Хозяин кофейни уверен, она художница. Эдо, кстати, то же самое говорил, но подозреваю, они оба так решили только потому, что у нее волосы покрашены в радугу и куртка краской заляпана; мужики, что они вообще понимают! Разноцветные пятна краски сейчас часто – просто декоративный элемент. По поводу возраста все путаются в показаниях, дают ей от тридцати до пятидесяти; ну, это нормально, люди Другой Стороны чужой возраст обычно плохо распознают. Выглядит загорелой, словно каждый день часами на пляже валяется; но может, просто кожа смуглая, как у меня и других потомственных северян? Говорит на нескольких языках, включая литовский, русский и польский, причем хорошо говорит, без акцента, во время гадания сложные вещи легко объясняет, но иногда не понимает простейших фраз. В общем, странная девочка, все, как мы любим. Но она не спешит устремиться навстречу нашей любви! Ты меня знаешь, я обычно везучая. Но только не с ней. Решила, ладно, оставлю записку, может согласится мне погадать. Написала что-то вроде: «У меня сейчас сложный период в жизни, друзья рассказали, как вы гадаете, мечтаю встретиться, буду благодарна», – и номер телефона.

– Не позвонила, конечно? – усмехнулась Ханна-Лора.

– Конечно. Зато написала ответ. И это, моя дорогая, натурально контрольный выстрел. Вот, полюбуйся, какая красота.

Кара достала из внутреннего кармана пальто бумажник, а из него – салфетку, на которой было написано по-русски, но почему-то латиницей: «Vam ne nado. Vy sami sebe Kanon Peremen», – и нарисовано несколько изящных закорючек. С точки зрения любого непосвященного – просто узор. Но если знать Старый Жреческий, вполне можно распознать в этом узоре фразу «Ищущий да не обретет», своего рода защитное заклинание, которое вырезали на подошвах ботинок, когда хотели уйти от погони или просто бесследно пропасть.

– Ого! – присвистнула Ханна-Лора.

– Вот именно.

– Считай, чистосердечное признание. Наша девочка. С Этой Стороны.

– Эдо говорил, она ему в Берлине гадала, – заметила Кара. – А теперь объявилась здесь. Значит, уехала за пределы Граничного города, откуда бы изначально ни была. И память утратила. Но Старый Жреческий, получается, помнит. Не только приветствие, которое Эдо от нее услышал, но и настоящие рабочие формулы. Ну и дела.

– В этом как раз нет ничего сверхъестественного, – сказала Ханна-Лора. – Многие, вернувшись в Граничный город, начинают вспоминать разные вещи – кто что. Смутно, как сны, которые в юности снились. И относятся к воспоминаниям соответственно – мало ли, какая ерунда крутится порой в голове. Она сама, кстати, вполне могла думать, что просто рисует узор. Красиво получилось, ладно, пусть будет для пущей загадочности. А может, наоборот, вполне понимала, что делает и зачем. Чего только не бывает, моя дорогая. Интересные творятся дела.

– Интересные – не то слово! – подтвердила Кара. – Я все гадаю, кто бы это мог быть. Но без толку. Вспоминала, кто из наших сгинул на Другой Стороне и до сих пор не вернулся. В твоем списке осталось одиннадцать человек, из них всего три женщины. И ни одна из них не подходит под описание. Агне и Мета сейчас гораздо старше нашей гадалки, у Виты глаза чернющие, а у этой светлые, серые, на загорелом лице выделяются, все так говорят. И, при всем уважении,

вряд ли кто-то из сгинувших дам изучал Старый Жреческий. Не те у них биографии. Разве что зубрили самостоятельно, с частным учителем, втайне от всех, включая домашних и ближайших друзей – но зачем?

– Да что нам с тобой тот список, – отмахнулась Хана-Лора. – Во-первых, она может быть из другого Граничного города… на самом деле, вообще откуда угодно. Приехала туда, где открыта граница, перешла на Другую Сторону, и поминай, как звали. Во-вторых, у нас, сама знаешь, есть пропавшие без вести, чья смерть до сих пор не доказана, но при этом нет даже косвенных данных, позволяющих внести их в списки сгинувших на Другой Стороне. Таких пропавших в одном только нашем городе почти четыре десятка за последние двадцать лет; сколько их во всем мире, даже предположить не возьмусь. А в-третьих…

Ханна-Лора не просто умолкла на полуслове, а остановилась, словно споткнулась о невидимый барьер. Наконец покачала головой:

– Нет, дорогая. Никаких «в-третьих». Пока – нет.

Кара с деланым равнодушием пожала плечами:

– Как скажешь.

Ханна-Лора положила руку ей на плечо.

– Не серчай. Это не от тебя секрет. А от… О! Тут же за углом таверна Безумной Милды. Мне говорили, у нее в этом сезоне появился какой-то фантастический грушевый глинтвейн. Сама еще не пробовала. Интересно, что в глинтвейне делают груши? И как они там себя чувствуют? Давай зайдем.

– Красиво разговор переводишь, – невольно улыбнулась Кара. – Какие, к чертям, секреты и тайны, когда тут за углом какой-то небывалый глинтвейн.

Когда они вышли с кружками в окружающий таверну запущенный сад и устроились на заменяющих стулья перевернутых ящиках, Ханна-Лора сказала:

– Просто я человек старой школы. Точнее, древней традиции. Согласно которой, некоторые вещи нельзя говорить вслух, чтобы мир тебя не услышал. Я имею в виду, не люди, не духи, не гости из иных пространств, а именно мир. Ну или реальность. Как хочешь, так и называй. Во времена моей первой юности считалось, будто реальность у нас впечатлительная. И нервная. И внушаемая, как девчонка-подросток. Есть темы, которые она воспринимает крайне болезненно и может закатить такую истерику, что камня на камне не останется от нее же самой. Поэтому следует трижды подумать прежде, чем сказать что-нибудь вслух, или, тем более, записать.

– Ага, – кивнула Кара. – Записывать, значит, тоже лучше не надо. То есть предполагалось, будто реальность умеет читать?

– Да конечно умеет, – пожала плечами Ханна-Лора. – Мы же с тобой умеем. Чем реальность глупее нас? Поэтому когда разговор на опасную тему был по какой-то причине необходим, его вели в храмовых подземельях, защищенных специальными хитроумными знаками, которые каким-то образом делают помеченное ими место частью иной реальности; сама понимаю, что звучит довольно нелепо, но считалось, да и ощущалось именно так. Я, кстати, вовсе не уверена, что в нынешние времена необходимо соблюдать древние правила техники безопасности. Но и в обратном не уверена тоже. Поэтому предпочитаю перестраховаться, ставки уж больно велики. Говорю же, я человек старой школы. Будь в моем распоряжении хоть одно годное храмовое подземелье, я бы прямо сейчас тебя туда отвела и все с превеликим удовольствием рассказала. Но где они, те подземелья? Только в памяти и остались. Причем преимущественно в моей. И это, конечно, не дело. Надо будет в ближайшее время что-нибудь подобное организовать. Да хоть у меня дома в подвале. – Хана-Лора просияла и продолжила с таким энтузиазмом, что сразу стало ясно, как она проведет пару ближайших ночей: – Нет, слушай, а правда! Почему я раньше это не сделала? Отличный же у меня подвал! Глубокий! Без окон! Идеальный вариант! Осталось выбросить оттуда все барахло и хорошенько заколдовать. А потом пригласить тебя в гости и сплетничать всю ночь до рассвета. Как тебе такой план?

– Звучит неплохо, – кивнула Кара. – Я – за. Но толку от меня теперь, надо думать, немного. Я имею в виду, что бы ты мне ни рассказала, шансов поймать эту гадалку у меня нет, если только она сама не захочет. Защита-то, как я понимаю, должна сработать, даже если она машинально, не понимая, что делает, значки начертила. Значит, от меня эта девочка уже ушла.

– Может оно и к лучшему, – задумчиво сказала Ханна-Лора. – Может и не надо тебе с ней встречаться. И вообще никому не надо, включая меня. И даже начиная с меня… Ты знаешь что? Расспроси о ней еще раз всех, кого получится. Хозяина кафе, людей, которым она гадала. С Эдо поговори, может он не все подробности рассказал, потому что не показалось важным…

– А что именно надо узнать?

Ханна-Лора поморщилась, как от боли. Наконец неохотно ответила:

– Честно? Сама толком не знаю. Но возможно, у нее есть какие-нибудь особенности, странности, бросающиеся в глаза? Шрамы, татуировки, запах тела или парфюма, манера говорить, словарный запас? Необычные украшения? Нож за поясом… ай, нет, нынче по улицам не ходят с оружием, и на Другой Стороне то же самое, что у нас. В общем, чем больше узнаешь, тем лучше. Сейчас важнее всего понять: это то, что я вслух даже предположить не смею, или просто человек, попавший в беду?

4. Зеленый остров

Состав и пропорции:

джин – 50 мл;

зеленый мятный ликер «Cr?me de menthe» – 5 мл;

горькая ангостура – 3 капли;

лед.

Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в «олд фэшн» бокал.

Цвета, Эдгар

– Да нормально все будет, – сказал Эдгар. – Ты же раньше на Другую Сторону проходила. И чуть ли не месяц безвылазно там прожила.

Цвета неопределенно пожала плечами – дескать, мало ли. На самом деле, когда она спрашивала проводника: «А если у нас не получится?» – это было не столько опасение, сколько надежда. Вдруг, – надеялась Цвета, – Другая Сторона не захочет меня пропускать? Потому что я ее невзлюбила? Так сильно, что даже какое-то местное мистическое явление самолично явилось меня отчитать за то, что своим унынием им атмосферу в городе порчу? В общем, не пустит, и все. И тогда можно будет сказать профессору Лангу: «Я старалась, Эдгар старался, но ничего не вышло, не принимает меня Другая Сторона». Да черт с ним, с профессором, он мне не начальство, не нянька и не учитель. Главное, – думала Цвета, – тогда я сама буду точно знать, что больше не могу пройти на Другую Сторону. Знать, а не предполагать! И спокойно жить дальше без дурацкой Другой Стороны не потому, что я трусиха и паникерша, каких свет не видывал, а по техническим причинам. Потому, что она сама меня не принимает, ничего не поделаешь, никто не виноват.

Цвета хотела не на Другую Сторону, век бы ее не видела, а только помириться с собой. Сбежав с Другой Стороны раньше срока, не дотерпев даже до концерта, на котором пообещала играть, она чувствовала себя проигравшей. Трусихой. Слабачкой. И это ей очень мешало – ладно бы только оставаться в мире с собой, можно как-нибудь обойтись и без мира, многие без него живут. Но ощущение поражения не давало Цвете нормально играть. Ее мастерство никуда не делось, и страсть осталась на месте, и сил было – завались. Однако играла паршиво; ну, то есть другим нормально, слова дурного ни разу никто не сказал, коллеги не косились на нее с сожалением, по крайней мере, пока, но сама-то она видела разницу, понимала, до какой степени все стало не так.

Играя, Цвета чувствовала себя мошенницей. Как будто позарилась на чужое. Музыка, – казалось ей в такие моменты, – достояние прежней храброй, веселой, отчаянной Цветы. Трусиха не имеет права так круто играть.

Ясно, что такое никому не расскажешь. Даже когда произносишь вслух в одиночестве, звучит как полная чушь. Что значит – «не имею права»? С каких это пор музыка – удел исключительно победителей и героев? При чем тут какая-то дурацкая Другая Сторона? С музыкой у музыканта все просто – или ты играешь, или ты не играешь. А я – да.

Но Эдо Лангу она все-таки рассказала. Потому что осточертело молчать. А с ним – это Цвета поняла буквально в первый момент знакомства – можно было говорить о чем угодно. Почти как с мертвыми Элливаля, потому что он тоже – нет, не мертвый, конечно, настолько живых еще поискать. Просто не очень-то здешний, всему и всем тут чужой. И от этого кажется, будто его ничего по-настоящему не касается, смотрит на нашу жизнь, как кино, – думала Цвета. Причем сама понимала, что это неправда, фантазии, выдумки. Просто живет человек в двух реальностях, на два дома, ну так не он один. Взять хотя бы Кару из Граничной Полиции, у нее даже на официальных рабочих визитках два телефонных номера – местный и Другой Стороны. Или Эдгар, ее проводник. Не просто туда-сюда за товаром мотается, у него на Другой Стороне жена.

Все понимала, но говорить с Эдо Лангом ей все равно было легко. За несколько коротких встреч в кофейнях и барах, всегда практически на бегу, столько ему о себе рассказала того, о чем до сих пор молчала, потому что папа умер, а больше такое нельзя никому, что сама всякий раз пугалась своей откровенности. Думала: ну все, на этом дружбе конец, невозможно приятно проводить время с человеком, который столько о тебе знает. Но оказалось, еще как возможно. Встречаешь его после очередного не в меру откровенного разговора, и не испываешь ни смущения, ни сожалений. И сам он ведет себя так, словно между вами ничего особенного не случилось – выпили, поболтали, подумаешь. В этом смысле профессор Ланг и правда был почти как настоящий Элливальский мертвец.

В общем, Цвета рассказала ему о своей дурацкой, нет, правда, совершенно дурацкой беде, в надежде, что Эдо Ланг выступит в роли голоса разума, скажет: «Не выдумывай, дорогая, мне бы твои проблемы. Что значит – ты не имеешь права? Полная чушь». Но вместо этого он кивнул: «Понимаю. Я бы тоже так мучился. Тоже решил бы, что трус не имеет права быть таким распрекрасным мной. И, чего доброго, лишил бы его наследства – всех своих прежних достижений, радостей и заслуг. И влип бы в тысячу неприятностей, лишь бы доказать себе, что снова, как прежде герой».

Пока Цвета краснела, бледнела и пыталась вообразить героические неприятности, в которые ей теперь придется храбро влипать, он добавил: «Твой-то случай довольно простой. Роковых глупостей можно не делать. Всего-то и надо – сходить на Другую Сторону с надежным проводником, испугаться до полусмерти, но взять себя в руки, сделать вид, будто все тебе нипочем, прогуляться, хлопнуть тамошней водки и вернуться домой на свет Маяка. А потом повторить столько раз, сколько понадобится, чтобы это стало рутиной, а не великим подвигом. После чего можно показать Другой Стороне средний палец и заняться своими делами. По крайней мере, я бы на твоем месте поступил именно так».

Больше всего на свете Цвете тогда хотелось отколотить профессора Ланга. Барный табурет об его башку в щепки разбить. Потому что совет был годный. Рабочий. А значит придется ему последовать. Вернуть себе право быть великой Цветой Янович. Ну или дальше трусливой курицей бессмысленно жить.

Драться она, конечно, не стала, но честно ему сказала: «Знал бы ты, как я сейчас хочу тебе врезать!» – а Эдо Ланг рассмеялся, страшно довольный: «Значит, правильно все сказал». И добавил: «Ты Блетти Блиса знаешь? То есть Эдгара Куслевского. Ладно, я вас познакомлю. Он отличный. Будет у тебя лучший в городе проводник».

И теперь лучший в городе проводник вел Цвету за руку по улице Битых Чашек – ну как по улице, по тропинке, с одной стороны ярко раскрашенные заборы, с другой – огороды, где зимой растет только трава. Они специально приехали на эту сонную окраину, где даже в разгар буднего дня пустынно, чтобы никто бродить не мешал. У Эдгара свой способ попадать на Другую Сторону, ему специальных тайных проходов не надо, он просто идет по улице, и вдруг – хлоп! – уже там. Ну это когда один, без попутчиков, просто. А Цвете он сразу честно сказал, что, может, долго гулять придется. А может, совсем недолго. Как повезет.

– Глаза прикрой, тогда будет быстрее, – посоветовал он. – Совсем закрывать не надо, а то начнешь спотыкаться, это нас с толку собьет. Прикрой и смотри сквозь ресницы под ноги. А по сторонам не смотри. И не волнуйся. Вопрос сейчас только в том, быстро мы пройдем или полдня потеряем. А пройдем, или нет – вообще не вопрос. Другая Сторона жадная, и это нам с тобой на руку. Она всегда хочет вернуть обратно всех, кто там побывал. Поэтому с новичками часто

возникают проблемы, а с теми, кто идет второй раз – уже нет. И чем дальше, тем легче становится. Но не настолько легче, чтобы случайно во время обычной прогулки туда провалиться. Не беспокойся, так не бывает, нет. Когда я был молодым, мне на эту тему много страшилок рассказывали. О старом контрабандисте, который не мог выйти из дома, потому что попадал на Другую Сторону, просто переступив свой порог. И о девчонке-школьнице, которая засыпала в своей кровати, а просыпалась на Другой Стороне; в конце концов сгинула там бесследно, не вернулась на свет Маяка. И еще много похожих историй. Я верил, конечно. И опасался, что со мной тоже такое однажды случится. Одно дело ходить на Другую Сторону по собственному желанию, и совсем другое – внезапно там оказаться в какой-нибудь неподходящий момент. Но потом выяснилось, это были обычные байки. Страшилки для начинающих. Контрабандисты в этом смысле, как моряки и водители-междугородники, любят запугивать новичков. И полиция еще добавляет; точно не знаю, но говорят, у них в Граничном отделе есть специальный сотрудник, ответственный за создание и распространение пугающих слухов о Другой Стороне. Чтобы наши там особо не расслаблялись, вели себя осторожно и благополучно возвращались домой. Может, оно и правильно, хотя будь я полицейским начальством, не стал бы пугать людей глупыми выдумками, потому что осторожные – они и так осторожные. А рисковые люди, чем больше их напугаешь, тем сильней захотят сделать наперекор…

Говорил, как колыбельную пел – негромко, спокойно, ласково и так монотонно, что Цвета, пожалуй, начала бы дремать на ходу, если бы шли помедленней. Но Эдгар шагал так быстро, словно они куда-то опаздывали. И постепенно ускорял шаг, так что даже у Цветы слегка сбивалось дыхание, поставленное многолетней игрой на трубе.

– Случайно на Другую Сторону попасть нельзя, – говорил Эдгар. – Легко – можно. Я всегда легко туда прохожу. Но для этой легкости необходимо большое желание оказаться на Другой Стороне. Вот про детей говорят, что они часто туда внезапно проваливаются, без опыта, навыков и специальных приемов – хлоп, и уже там! И это правда, но только отчасти. Штука в том, что дети обычно хотят приключений. Ну или просто чего-нибудь необычного. И знают много завиральных историй о Другой Стороне. Поэтому хоть и боятся, а все равно очень хотят туда попасть. А дети умеют хотеть как следует, взрослым с ними тут не тягаться. И вот такой получается результат… А мы с тобой уже давно взрослые, – сказал он, резко остановившись и крепко обняв Цвету. – Но у нас все равно отлично все получилось. Voila!

Это «вуаля» прозвучало так неожиданно, что Цвета сперва рассмеялась, а уже потом осознала смысл сказанного, открыла глаза и огляделась по сторонам. Ей сперва показалось, что они где-то за городом: дома с садами, сейчас по-зимнему голыми, заборы, редкие фонари разгораются в сгустившихся синих сумерках, и полная тишина. Ну да, гуляли-то мы на самой окраине. И оказались тоже на окраине. Логично, – подумала она.

– Это Антоколь, – сказал ей Эдгар. – Отличный район. Мне очень нравится. Одно время даже хотел сюда переехать. Но жене на работу отсюда было бы далеко. С Белой улицы и то ближе, если добираться с таким проводником, как я. – Он улыбнулся так беззаботно, словно не рассказывал о страшном периоде жизни в полном забвении, а вспоминал хорошие времена, и заговорщически подмигнул Цвете. Дескать, оценила проводника?

– Ты крутой, – подтвердила Цвета. – Когда меня Симон сюда вел, мы часа полтора по холму взад-вперед мотались, а ведь это был его любимый короткий проход. А с тобой – раз, и мы уже тут!

– Симон тоже крутой, – серьезно возразил Эдгар. – Ты же сама говорила, что до него на Другой Стороне не бывала, даже в детстве ни разу. Впервые шла. Я бы сам, знаешь, не всякого новичка провел.

Он достал из кармана телефон, объяснил:

– Сейчас такси вызову. Пешком отсюда до центра долго. А доедем буквально за пять минут. Ты как вообще?

– Гораздо лучше, чем думала, – честно сказала Цвета. – Осенью был такой ужас! Мне здесь даже воздух казался отравленным, об остальном уже не говорю. А теперь вроде вполне нормально. Даже плакать пока не хочется. У тебя легкая рука.

– Есть такое, – согласился Эдгар. – Ну и знаешь, первый раз это все-таки первый раз.

В такси они ехали молча, поэтому настроение у Цветы успело немного испортиться. Но по сравнению с тем, как было минувшей осенью – полная ерунда. Когда вышли из машины, Эдгар сказал:

– Мне, конечно, трудно судить объективно. У меня нет проблем с Другой Стороной, как у большинства наших. Я здесь так долго жил, что стал отчасти своим. Но по моим ощущениям, настроение в городе изменилось даже по сравнению с началом осени, когда ты здесь была. И продолжает меняться. Это можно почувствовать, но нельзя объяснить. Иногда мне кажется, что здесь дышится почти так же легко, как дома. А иногда, что я оказался не просто на Другой Стороне, а на другой планете, как в каком-нибудь фантастическом фильме. Но на этой планете по счастливому совпадению тоже виден свет нашего Маяка.

Зоран

Ева часто говорила: «Ты странный». И была совершенно права. Зоран был странным, и сам это признавал. И чувствовал себя странно, особенно в последнее время, особенно вот прямо сейчас. Пожалуй, скорей хорошо, но непонятно, как это «хорошо» описать. Даже себе ничего про себя объяснить не могу, – думал Зоран, лежа в постели и разглядывая потолок, по которому суетливо скакали фонарные блики. На всей Заячьей улице фонари не жестко закреплены на столбах, а подвешены на специальных декоративных петлях, вот и мотаются. Веселое получается зрелище, особенно когда снаружи ветер и дождь.

Всегда, сколько Зоран себя помнил, жизнь казалось ему прекрасной, если хорошо шла работа. Ну и наоборот. Все остальное тоже, конечно, имело значение. Но такое, второстепенное, что ли. Формальное, как справка из канцелярии какого-то небесного банка о состоянии счета, то есть судьбы. Была настоящая, главная жизнь, где кипит работа, или напротив, ни хрена не кипит, и это определяет, счастье тут у нас, или горе, стоим на месте, или несемся, и если несемся, то примерно куда. А все остальное в его восприятии выглядело каким-то отдельным дополнительным списком, вроде того, с которым ходят по магазинам, отмечают по мере приобретения: это у меня в корзине уже есть, а

этого еще нет.

Вот и Зоран вполне бесстрастно отмечал в своем списке: жив, здоров (приписка: «можно пахать»), дом – есть, денег – хватает, друзья – есть (скорее все же просто приятели, зато до хрена), путешествия – нет (и это не дело), карьера – есть (хотя К. считает, для художника моего уровня это не карьера, а полная ерунда), семья – нет (сиротой остался так рано, что это просто факт биографии, а не боль), подружка – есть… а, уже нет, ушла.

Собственно, окончательно понял про «главную жизнь» и «дополнительный список», когда Ева сказала, что дальше так невозможно, что так вообще не бывает, что у людей бывает не так, что рядом с ним она чувствует, будто постепенно становится невидимкой, тает, словно уже умерла; короче, нельзя живого теплого близкого человека до такой степени не замечать. Зоран должен был огорчиться, Ева ему очень нравилась, но он почти ничего не почувствовал, только думал: «Я огорчен», – мысленно вычеркивал Еву из списка своих житейских приобретений, ставил пометку напротив пункта «подружка»: «не вышло, как жаль».

На самом деле все его женщины рано или поздно уходили по той же причине, что Ева. Говорили примерно одно и то же: ты живешь со мной рядом, словно нет никакой меня. И были правы, Зоран это и сам понимал. Думал: я, наверное, слишком художник, чересчур вдохновенный, как говорится, не от мира сего. О таких, как я только в книжках читать приятно, а жить рядом, должно быть, кошмар. Все про себя понимал, но не знал, как это исправить. Да и не особо хотел исправлять.

Не то чтобы он рисовал с утра до ночи. Иногда подолгу бездельничал, в смысле, физически ничего не делал, кисти в руки не брал, дни напролет бесцельно слонялся – по дому, по городу, по берегу моря, с друзьями по кабакам. Но все это время, пока лежал на диване, сидел на веранде, ходил по улицам, плавал, нырял, разговаривал, ел и пил, присутствовал в мире только формально, а всем своим существом пребывал на зыбкой границе между зримым светом и незримой внутренней тьмой, где мир соединяется с собственным отсутствием, полнота жизни с загадочной пустотой, в которую мы, – говорил себе Зоран, – после смерти уходим. Никто не знает, что там. Но если долго, внимательно, самоотверженно – в буквальном смысле самоотверженно, отвергая себя и весь свой предыдущий опыт – в эту пустоту смотреть, она становится зримой,

кромешная тьма постепенно заполняется видимым глазу светом, и тогда оказывается, что никакой пустоты в мире нет, только прискорбная человеческая неспособность разглядеть восхитительные детали того, что нам, немощным, кажется пустотой.

Быть художником, – думал Зоран – означает преодолевать эту немощь, каждый раз как впервые; на самом деле, не «как», а всегда впервые, всегда. А потом рисовать – не по памяти даже, с натуры. Спешить, стараться успеть, пока на этой зыбкой границе еще стоит хоть какая-то часть тебя.

Звучит отлично. И результат получался отличный. И жизнь на границе между человеческим миром и тайной – отличная жизнь. Но другим людям в этой моей отличной жизни делать и правда особо нечего, – думал Зоран. – Наверное, по-дурацки себя чувствуешь, когда тот, кто рядом, постоянно пялится в пустоту.

Сна не было ни в одном глазу, хотя перед тем, как лечь, выпил – не с горя и не на радостях, а именно ради снотворного эффекта – полбутылки контрабандного сладкого «снежного», так оно называлось, вина. Глупо ворочаться с боку на бок, – решил Зоран и встал. В спальне было прохладно, поэтому он закутался в одеяло, которое волочилось за ним по полу, как жреческий шлейф эпохи Первой Империи. Подумал: жаль, что за мной сейчас никто не подглядывает, такое зрелище зря пропадает! Ну зато самому смешно.

Подошел к окну, прижался лбом к стеклу, потому что оно гладкое и холодное, реальное, как мало что в моей жизни, приятно его ощущать. И еще потому, что за окном – зимний запущенный сад. Ну как – сад, небольшой палисадник, заросший высокими старыми туями. И бурьяном каким-то живучим, которому нипочем зима. А может, не бурьяном, а специальными декоративными зимними травами? Черт разберет. Что выросло, то выросло, раз смогло, пусть живет, – думал Зоран, глядя, как свет уличных фонарей, трепеща, перепрыгивает с ветки на ветку, и улыбался – без причин, просто так.

Честно говоря, особых причин улыбаться у Зорана не было. Умом он понимал, что все плохо, Ева только вчера ушла. Ева такая хорошая, – думал Зоран, – как я теперь без Евы, месяц практически не расставались, я был влюблен, привязался, привык, люди грустят, когда расстаются с любимыми, и мне сейчас надо грустить, – говорил он себе, но все равно почему-то был счастлив, как почти

всегда в последнее время. Как-то даже, пожалуй, слишком. Не в том смысле, что хотел бы перестать быть счастливым, а только в том, что к такому состоянию не привык. Каждый день, проснувшись, начинал улыбаться прежде, чем успевал открыть глаза, и это было странно и непривычно. Зоран хорошо помнил, что раньше тяжело вставал по утрам, даже если нормально выспался, все равно поначалу в голову неизменно лезли мрачные мысли о бренности бытия, до первой чашки крепкого кофе он ползал по дому, как сонная зимняя муха, да и потом ему надо было спокойно посидеть часа полтора, чтобы почувствовать себя нормальным живым человеком. Но теперь все изменилось, стало не так. Иногда Зоран думал: это потому, что я наконец-то сюда переехал, любит меня этот город, и климат мне идеально подходит, и море, и воздух, и люди, да все подходит, здесь мое место силы, как в таких случаях говорят, – но тут же спохватывался: ничего себе «наконец переехал»! Почти двадцать лет назад. А счастливая легкость пришла недавно. Кажется, перед открытием выставки, в сентябре. Или уже после открытия? В общем, примерно когда-то тогда.

5. Зеленый огонь

Состав и пропорции:

джин – 45 мл;

тминный ликер «Kummel» – 10 мл;

зеленый мятный ликер «Cr?me de menthe» – 10 мл;

лед.

Смешать ингредиенты в шейкере со льдом. Процедить в наполненный льдом коктейльный бокал.

Тони, снова Тони, опять

Тони просыпается в сумерках; это, на самом деле, не так уж поздно, в декабре темнеет в четыре, а смеркаться в пасмурный день начинает чуть ли не в два. Получается, мало поспал, потому что уснул уже засветло, примерно в девять утра; это перебор даже для Тони, но так отлично сидели, ничего не хотелось менять, пока Стефан не спохватился, что ему пора на работу. Смешно, конечно: быть неведомо чем, числиться начальником несуществующего отдела полиции, охраняющего незримую, которую и представить-то невозможно, границу между реальностью и ее тайной изнанкой, между явью и сном, но все равно торопиться на службу, как все нормальные люди, с утра.

И я такой же смешной, – думает Тони, укоризненно озирая огромный холодильник, в котором нет сейчас ни черта, кроме собственно холода. – Стал неведомо чем, владельцем несуществующего кафе, где завсегдатаи, в основном, смутные тени сновидцев, заплутавшие гости из иных измерений, демоны, духи, окрестные оборотни и другие невообразимые существа; условно нормальных людей по пальцам пересчитать можно, включая случайных, особо везучих гостей, но все равно почти каждый день приходится закупать обычные человеческие продукты, потому что одной иллюзией сыт не будешь, ее надо материей разбавлять.

И вот все у нас так! – думает Тони, сонно озираясь в поисках джезвы. – Иллюзии, материя, настоящее, несуществующее, невозможное и обыденное, все вперемешку. Анархия и бардак.

Тони редко об этом всерьез задумывается. Жизнь у него такая, что хоть убейся, а не охватишь умом. Поэтому думать лучше не о парадоксальном устройстве наваждения класса Эль-восемнадцать, частью которого Тони, как ни крути, сам является, а обо всем остальном. Например, о меню на вечер, списке продуктов, и о том, куда за ними лучше пойти. Или не полениться, взять машину в каршеринге и доехать до рынка Бенедикта, благо он работает допоздна? И о погоде – в смысле, как одеваться. И о том, где мы сегодня есть, – весело думает Тони. – Вряд ли по-прежнему на Доминикону. Мы там и так задержались на целых два дня.

Вот к чему, конечно, совершенно невозможно привыкнуть, так это к постоянным перемещениям, сегодня здесь, завтра там. В начале декабря вообще на Правом

берегу оказались, в глубине проходных дворов на Кальварию, Тони тогда поначалу здорово огорчился: ну уж здесь-то нас никто не отыщет, – однако именно в тот вечер в кафе случился аншлаг. А потом внезапно появились в Жверинасе, и там вышло совсем смешно: вход в кафе выглядел как старый лодочный сарай; он, собственно, и был сараем, на крыше которого лежала старая рассохшаяся байдарка. От такого соседства бедняга настолько одухотворилась, что человеческим голосом попросила чего-нибудь выпить, получила стакан настойки на забытых снах, а под утро куда-то исчезла, причем с концами. Неловко получилось, то-то хозяевам сюрприз. Стефан это дело потом из любопытства расследовал, сказал, байдарка, спьяну расхрабрившись, как-то сползла по склону к реке Нерис, где превратилась в миниатюрный трехмачтовый парусник и уплыла в неведомом направлении, так что одним «Летучим Голландцем» в мире стало больше. Правда, пока никому не известно, в каком.

Тони улыбается, вспоминая спятившую байдарку, натягивает штаны поприличней, все-таки предстоит выход в свет. Придирчиво оглядывает себя в зеркало – я вообще адекватно выгляжу? Как нормальный человеческий человек? Ну, вроде да – одна голова, две руки, две ноги, одет, как большинство прохожих на улице, а что стричься давно пора, так это и с нормальными людьми постоянно случается. Но на всякий случай Тони надевает серую трикотажную шапку, шапка – именно то, что надо, актуальный элемент гардероба, в этом смысле, очень удобное время года зима, – думает он, шнуруя ботинки. В этом смысле зима как раз крайне неудобное время года, в шлепанцах на босу ногу далеко не уйдешь.

* * *

Тони Куртейн откладывает в сторону книгу – потом дочитаю, не до пыльных бунтов эпохи Второй Империи мне сейчас – покидает любимое кресло, в котором сегодня ему не сидится, все неудобно, неловко, мешает, как будто задницу чьей-то чужой подменили, пока спал. Он улыбается почти против воли, вообразив подробности преступления века и заголовки в вечерних газетах: «Похищена бесценная задница смотрителя Маяка!» – и отправляется в кухню. Открывает холодильник, снова его закрывает, потом осматривает буфет. Еды в доме даже больше, чем надо одному человеку. Но из того, что есть, ничего не хочется. Хочется непонятно чего.

Весь день сегодня наперекосяк, – думает Тони Куртейн. – А все потому, что разбудили до рассвета, засранцы; это в последнее время какая-то новая мода:

нажраться на Другой Стороне до возвращения в детство и в таком виде с песнями вваливаться на Маяк. Сердится, но и сам понимает, что несправедлив: для того и Маяк, чтобы люди на его свет приходили, а в какое время суток и в каком состоянии, их дело, меня не касается, лишь бы возвращались домой с Другой Стороны.

На самом деле, выпроводив тех шумных гуляк, Тони Куртейн снова лег и нормально выспался, ему просто обидно, что не удалось ни досмотреть, ни даже толком запомнить прерванный их появлением предутренний сон. Там была какая-то фантастическая вечеринка с фейерверками и драконами на Другой Стороне, в кабаке двойника, а подобные сны Тони Куртейн любит больше всего на свете; как в старину говорили, душу за них бы продал.

Он бы и наяву не оказался от таких вечеринок, да какое уж тут «наяву». Поди до них доберись, – думает Тони Куртейн. – Чуваки на Другой Стороне веселятся, а я здесь сиднем сижу.

На Другой Стороне он был всего дважды, и оба раза как-то само получилось, хотя и этого, по идее, быть не могло. До сих пор считалось, что смотритель Маяка попасть на Другую Сторону вообще ни при каких обстоятельствах не может. И со своим двойником до самой смерти не встретится. Но ему повезло.

Тони Куртейн ставит на плиту чайник – когда голоден, а от еды воротит, чай вполне заменит горячий суп. Пока вода нагревается, Тони Куртейн стоит у окна, прижавшись лбом к стеклу, смотрит на пустынную улицу. Думает, мысленно обращаясь к своему двойнику: ты бы, что ли, сам в гости зашел, раз уж я не могу. Как тогда, в сентябре. Отлично же посидели. Хотя ты же, наверное, тоже по заказу не можешь, а то бы давно пришел.

И Эдо уже три дня не было, – мрачно думает Тони Куртейн. – Сидит на своей Другой Стороне, как медом ему там намазано. Работа работой, нельзя отвлекаться, это я понимаю, но на полчаса-то всегда можно зайти.

Думает так, но и сам понимает, что несправедлив. Не медом там Эдо намазано, совсем иначе это вещество называется. Например, «суперклей». Зайти на полчаса хорошее дело, когда живешь на соседней улице. А с Другой Стороны на Эту туда-сюда не набегаешься, особенно если не можешь пройти сам, без проводника. Но кому от этого понимания легче, – сердито думает Тони

Куртейн. – Уж точно не мне.

Похоже, – с удивлением понимает Тони Куртейн, – я банально соскучился. Даже не столько по Эдо и своему двойнику, сколько по самому себе, тому, каким становлюсь в хорошей компании. Засиделся дома один без друзей, вечеринок и других развлечений, и предсказуемо скис. А это не дело. Мне киснуть нельзя. Я же так все на хрен испорчу. Яркость света совершенно точно зависит от смотрителя Маяка. А вдруг не только она? Скорбь и отчаяние, как показала практика, делу даже на пользу, но может, когда я просто всем вокруг раздражен, идти на мой свет становится неприятно? И люди из-за этого начнут застревать на Другой Стороне? Вроде ни о чем подобном в инструкциях не написано, но Маяк – дело темное. Никто, включая сотни моих предшественников, толком не знает о нем ни черта, только догадываются – каждый о чем-то своем. Ладно. Надо бы мне погулять, что ли, выйти. Я же осенью, было дело, давал себе обещание хотя бы раз в два-три дня выбираться к морю. А потом забил и забыл. Главное, мне же у моря нравится! И настроение сразу делается, как надо. А я все равно туда не хожу, как будто назло ему и себе.

Тони Куртейн достает из буфета бутылку темного рома, батон травяного хлеба, берет недавно заточенный нож и режет хлеб на тонкие ломти. Бутербродов должно быть много; мало ли, что сейчас никаких бутербродов не хочется, у моря что угодно отлично зайдет.

* * *

Тони выходит во двор, вдыхает сладкий от сырости воздух, в сумерках синий, кажется, даже на вкус. Отличный сегодня день, очень теплый для декабря, ветер больше похож на весенний, и запах принес совершенно апрельский, травяной и одновременно медовый, словно дикие сливы уже зацвели. Озирается – где мы сегодня? Так сразу, навскидку все равно непонятно. Не был здесь то ли очень давно, то ли вообще никогда. Как долго ни живи в городе, сколько по нему ни броди, всегда останутся белые пятна, неисследованные места.

Ладно, – думает Тони, – двор как двор, дома послевоенной постройки, наверняка где-нибудь в Новом городе, там таких полно.

Тони оборачивается назад: интересно, откуда я вышел? Как сегодня выглядит вход в кафе? За спиной у него не гараж, не дровяной сарай, не заброшенная

пристройка, как чаще всего случается, а обычная дверь подъезда, только не коричневая, как все остальные, а цвета морской волны. Без кодового замка и без ручки, как хочешь, так и открывай. Ну, бывает. Пару раз уже точно была обычная дверь подъезда, на Швитригайлос, на Басанавичюс и где-то еще, – вспоминает Тони.

На самом деле, совершено неважно, как выглядит вход в кафе, кому надо, как-нибудь да войдет, остальные его не заметят, а если даже заметят, не обратят внимания, значения не придадут. Но все равно интересно. Каждый раз, как впервые: где мы сегодня и как выглядит вход? Словно узнаешь о себе что-то новое, хотя хрен это знание расшифруешь. Сине-зеленая дверь – почему именно этот цвет? И почему дверь без ручки? Просто для смеху, или это пророчество, что сегодня к нам никто не придет? А двор на… – ага, на Паменкалне, так и есть, в Новом городе, я угадал, – думает Тони, выйдя на улицу и оглядевшись по сторонам; понятно теперь, почему двор незнакомый, мало в этом районе гулял. Вот интересно, то, что мы сегодня в дворе на Паменкалне, это просто так, обычная лотерея без особого смысла, или все-таки что-нибудь означает? И если да, для кого это важно – для меня, или для самой улицы, или для тех, кто сегодня вечером к нам придет? Когда речь о кафе, Тони всегда думает в множественном числе: «мы», «к нам», «у нас», – хотя и хозяин, и повар там только он. Но если бы не было этого «мы», всего остального тоже бы не было. Наваждению нужны те, кому оно может мерещиться, морок немыслим без того, кто его однажды навел.

* * *

Тони стоит на улице Паменкалне, напротив холма и никак не может решить, что ему теперь делать: брать машину и ехать на рынок, или топать пешком до большого супермаркета «Максима», благо отсюда недалеко? Ладно, – наконец говорит себе Тони, – чего я на том рынке не видел. Зелень там свежая, лучше, чем в супермаркете. Но с мясом в это время уже не очень. А в «Максиме» какой-никакой выбор всегда есть. И остальное найдется.

И нести покупки вниз, под гору будет легко, – думает Тони, перебегая дорогу в неположенном месте, потому что педантично следовать правилам уличного движения, будучи фрагментом наваждения класса Эль-восемнадцать, все-таки перебор.

Тони поднимается по склону холма Тауро, скользкому от мокрых осенних листьев, облетевших еще месяц назад, в ноябре; мог бы подняться по лестнице, но идти по ступенькам скучно, а от скуки он быстро устает. Думает обо всем понемножку, но в основном – про будущий ужин, составляет меню; ясно, что зимой всегда отлично заходит Немилосердный суп, и варить его просто, а вот что кроме супа? Только не пироги, уже надоели, они в последнее время практически каждый день. Ну не котлеты же, – думает Тони и тут же спрашивает себя: – А собственно, почему не котлеты? Половину можно испечь в духовке, половину пожарить на сковороде. Я сто лет уже котлеты не делал, их сметут на ура.

Приняв решение, Тони наконец замечает, что больше не поднимается на холм, а идет по совершенно ровной поверхности, причем не по траве и не по асфальту, а по песку, по самой кромке прибоя, и к его ботинкам неторопливо, как хищник, уверенный в том, что жертва уже никуда не денется, приближается темная, густая, тяжелая морская волна. Жертва и правда никуда не делась, в смысле, Тони мог бы успеть отбежать подальше, но так охренел, что не стал.

Тони стоит на берегу Зыбкого моря и думает: елки, ну я попал. Это как вообще? Я же ничего специально не делал. Я вообще был не в том настроении… Или как раз именно в том?

Тони счастлив, потому что внезапно оказаться на тайной изнанке города – огромное счастье, тут нечего обсуждать. Но и сердит, как всегда, когда нарушаются планы. И совершенно растерян, очень уж неожиданно получилось. Именно сегодня ни о чем таком не мечтал, не прикидывал, как бы так исхитриться, даже не вспоминал.

Тони думает: ладно, ничего не поделаешь, я уже тут. Будем надеяться, у кого-нибудь всемогущего хватит могущества сегодня меня заменить. Все взрослые лю… непостижимые сущности, как-нибудь не пропадут. Если сильно проголодаются, пиццу навынос закажут, а выпивку сами в буфете найдут, – говорит себе Тони и одновременно прикидывает, что большая Максима работает круглосуточно, так что когда бы отсюда ни выбрался, надо будет зайти туда за продуктами, потому что дома реально шаром покати. Вряд ли стану возиться с котлетами, – думает Тони, – но уж суп-то точно можно сварить.

Откорректировав таким образом планы на вечер и окончательно успокоившись, Тони закатывает до колена штаны, снимает промокшие насквозь ботинки и

такие же мокрые, хоть выжимай, носки. Думает: как же все-таки тут тепло! Не лето, конечно, но примерно как у нас в октябре. Интересно, это случайно мне повезло с погодой, или климат напрямую зависит от свойств материи, поэтому здесь каждую зиму так хорошо? Надо же, и песок еще теплый, хотя уже ощутимо стемнело, наверное, был солнечный день. Даже море прогрелось, – думает Тони, с удовольствием шлепая по кромке прибоя. – Нырять я сейчас, пожалуй, все же не стал бы, а вот так погулять – в самый раз.

* * *

Тони Куртейн выходит на конечной остановке трамвая; в вагоне он был один. Мало охотников ездить к морю вечером буднего дня в декабре. А может, это Зыбкое море устало от нас за лето и не хочет, чтобы люди к нему толпами ездили? Не удивлюсь, если решает оно, – думает Тони Куртейн, пока идет по улице Пасмурных Вечеров, ускоряет шаг, словно опаздывает на встречу. Хотя ни с кем о встрече не договаривался и прийти к определенному часу не обещал. Однако продравшись сквозь заросли усыпанного крупными, почти черными ягодами шиповника и оказавшись на пляже, он переходит на бег и еще издалека, громко, не стесняясь возможных свидетелей, кричит, обращаясь к Зыбкому морю, как к старому другу: «Это я! Прости, что так долго не приходил, – и добавляет тихо, почти шепотом, потому что уже добежал, встал так близко, что ботинок лижет волна: – Сам, знаешь, честно, не понимаю, почему с сентября ни разу сюда не доехал. Дурак я совсем у тебя».

Море отвечает что-то на своем языке, слов не понять, но, судя по интонации, ласково. С точки зрения моря, – вдруг понимает Тони Куртейн, – времени не то чтобы вовсе нет, но течет оно явно как-то иначе. Иногда наше «каждый день» для него все равно слишком редко. А иногда даже «год назад» – как вчера.

Тони Куртейн стоит на кромке прибоя, босой, закатав штаны до колен. Все-таки Зыбкое море есть Зыбкое море, законы природы ему не писаны, день был солнечный, но холодный, а вода сейчас теплее, чем была в сентябре.

В кои-то веки он ни о чем не думает, то есть правда вообще ни о чем, просто смотрит на темную зимнюю воду, густую, тяжелую, как расплавленное стекло, и сам ощущает себя отчасти водой, а отчасти все еще человеком, потому что будь он совсем водой, вряд ли вот так стоял и смотрел бы на ленивые волны. Будь он водой, он бы тек.

Наконец Тони Куртейн приходит в себя настолько, что совершенно по-человечески расстегивает теплую куртку, достает из внутреннего кармана бутылку темного рома, и рокот прибоя становится отчетливо одобрительным: вот это ты правильно делаешь, вовремя вспомнил, давай угощай. Тони Куртейн отпивает совсем небольшой глоток, щедро плещет ром в море и почти беззвучно, одними губами произносит свой любимый, самый короткий в мире тост: «Будь!» В этот момент на его плечо ложится рука и голос, на этот раз отчетливо человеческий, шепчет в самое ухо: «И мне оставь». Тони Куртейну даже оборачиваться не надо, кто хотя бы однажды ощутил прикосновение двойника, ни с чем другим его не перепутает. Поэтому он только спрашивает: «Это ты вообще как?»

* * *

– Увидел тебя и сразу подумал: теперь все понятно, вычитал в своих книжках какое-нибудь древнее заклинание и вызвал меня, как демона из преисподней! – хохочет Тони, вгрызаясь в бутерброд с ветчиной с такой жадностью, словно год сидел на диете. Впрочем, он и правда сегодня не завтракал. Просто не нашел, чем.

– Не-а, не вызвал. Я не умею. Но кстати, как раз сегодня тебя вспоминал и понял, что очень соскучился, – с набитым ртом отвечает Тони Куртейн, который тоже не завтракал и не обедал, потому что ничего не хотел. Но теперь захотел как миленький. Великая вещь морской воздух. И конкуренция тоже великая вещь. – Мне, прикинь, приснилась какая-то вечеринка в твоей бадеге. Там еще то ли дракон запускал фейерверки, то ли из фейерверков родился дракон, теперь уже ничего толком не помню. Невовремя разбудили. Ужасно обидно. Хороший был сон.

– Вечеринка, кстати, была, но вроде бы без драконов, – неуверенно говорит Тони. – А фейерверки… Ай, слушай, так это, наверное, Нёхиси превращался. Он все время во что-нибудь этакое превращается, иногда как раз с фейерверками, мы просто давно привыкли, уже и внимания не обращает никто… Погоди, это, что ли, у нас бутерброды уже закончились?

– Закончились, – подтверждает Тони Куртейн. – Я же на тебя не рассчитывал. Мало сделал. Всего-то двенадцать штук.

– В следующий раз рассчитывай, – ухмыляется Тони. – В твоем положении следует быть оптимистом. Твердо знать, что как бы ни складывалась жизнь, а в любой момент не пойми откуда может вывалиться голодающий допельгангер и слопать все, что найдет.

Валя

Ты будешь дорогой, я – тем, кто так и не вышел из дома. Ты будешь сном, я проснусь и забуду тебя. Ты будешь светом, я закрою глаза. Ты будешь чудом, я – тем, с кем оно не случилось. Ты будешь словом, я – чужеземцем, который его не поймет.

Валя открывает глаза, утыкается лбом в мутное, холодное, мокрое снаружи, пыльное изнутри стекло, думает: дура, дуууууура, я дура, дура это теперь я; хватит, – думает Валя, – хватит, хватит, пожалуйста, хватит уже о нем, хватит корчить из себя поэтессу, сочинять красивые фразы, которые никогда не напишу и не отправлю, и слава богу, что не отправлю, потому что если все-таки да, Лева только плечами пожмет: «Совсем кукуха поехала». Какое, на хрен, «ты будешь светом», кто будет светом – Левочка, да? Вот этот му… да ну нет, на самом деле, никакое не «му», он нормальный, Левка отличный, просто, ну, не любит меня, так бывает – не любит, и все. Меня еще восемь, или сколько нас там сейчас на Земле миллиардов не любят, почему им можно меня не любить, а именно Леве вдруг с какого-то перепугу нельзя?

Валя всматривается в темноту. Давно не ездила в автобусах, всегда сама за рулем, а сегодня вдруг решила отвезти документы тетке автобусом, чтобы сослаться на расписание и не засиживаться в гостях. На самом деле, это была плохая идея, – думает Валя. – В последнее время у меня что-то много плохих идей.

Пока планировала, казалось, ехать автобусом будет очень приятно, дольше, чем на машине, зато напрягаться не надо, почти целый час можно ничего не делать, отдыхать и смотреть в окно. Она, собственно, смотрит, но что тут увидишь, только темнота, изредка фонари и фары встречных автомобилей, без особой нужды за город сейчас никто не поедет, вторник, вечер, дождь моросит, зима, снова зима, ну как же так получается, буквально только что было лето; ладно,

осень тоже была, но какая-то слишком короткая, по ощущениям, не больше недели, любимое пальто всего три раза надеть успела, и все, конец, снова гребаная зима, закончен сезон непрактичных нарядов, ты один мне поддержка и опора, о старый, страшный, дешевый и бесформенный теплый пуховик. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние… а с тобой еще легче впасть.

Ты будешь летом, – думает Валя, снова закрыв глаза, – а я старым пуховиком, который убрали в кладовку, чтобы оставался там до зимы.

От этого унылого образа ей становится смешно и наконец-то легко, как будто вот прямо сейчас все наконец-то и правда закончилось, как кнопку нажали, раз – и нет никакой несчастной любви. Валя не особенно обольщается, потому что так уже много раз было – внезапное освобождение, облегчение, граничащее с эйфорией, но потом приходишь домой, а там стул, который вместе раскрашивали, три желтые ножки, четвертая черная с надписью «я дитя тьмы», там плед в зеленую клетку, в который вместе кутались, сидя а августе на балконе, там, собственно, сам балкон, где провели вместе столько прекрасных часов, и ящики с неувядающими мелкими хризантемами, которые принес, никуда не денешься, Левка и сам посадил, как будто собирался навсегда остаться, а на самом деле ничего он не собирался, подумаешь, ерунда какая, посадил хризантемы, хризантемы – не обязательство, а просто цветы.

Когда человек хочет с тобой остаться, он остается, – думает Валя. – А когда человек тебя любит, это – ну, обычно выражается в каких-то практических действиях. Это же только в любовных романах принято из каких-то винтажных соображений чувства скрывать, а жизнь честнее и проще: если человек чего-нибудь хочет, непременно постарается это получить. А если ни разу не попытался, а потом вообще постепенно исчез из поля твоего зрения, значит и не хотел. Не надо гадать, фантазировать, себя уговаривать, не надо придумывать ничего.

От этих печальных, в сущности, мыслей Вале становится еще легче. Совсем легко. Потому что если на самом деле ничего не было, значит и не потеряла я ничего. Ты будешь гипотезой, а я – показаниями приборов, которые ее опровергли. Привет.

Валя открывает глаза и видит, что пока она думала о приборах, гипотезах и любви, которой никогда не было, автобус успел въехать в город; ничего по-прежнему толком не видно, но здесь уже есть светофоры, из-за какого-то

оптического искажения они кажутся огромными, как прожекторы, и сейчас за окном сияет ярко-зеленый свет.

В городе водители обычно соглашаются остановиться и высадить пассажиров, где тем удобней, если заранее попросить, но Вале не надо, ей домой от автовокзала ближе всего, можно сидеть спокойно, не опасаясь пропустить свою остановку. Однако повинуясь какому-то безотчетному порыву, она поднимается, медленно идет по проходу, одной рукой цепляясь за поручни, другой волоча за собой чемодан, глядит не под ноги, а в окно, за которым сияет зеленый свет далекого светофора, слишком яркий, слепит глаза, но смотреть на него все равно почему-то приятно, такой красивый, радостный, праздничный свет; Валя идет по пустому вагону и думает: как же странно, что в вагоне никого, кроме меня. Это я что, ехала почти целые сутки и не заметила, что одна? Да ну, нет, ерунда, были еще пассажиры, два молодых человека сидели в конце вагона, всю дорогу играли во что-то на странной, раньше таких не видела, шестиугольной доске, и песьеглавец с улыбчивым толстым младенцем, и пожилая женщина с прозрачным, как на фиранских картинах, лицом всю дорогу просидела с кальяном в курящем купе; наверное все просто вышли час назад в Шелой-Хассе, там же сейчас карнавал в честь прихода зимы, конечно, туда все едут, и только я, как скучная клуша, домой-домой, потому что завтра вечером на работу, так, чего доброго, вся жизнь пройдет без излишеств и наслаждений, – думает Младшая Сумеречная Начальница Во-Ин-Талли; впрочем, это чистой воды кокетство, не жалуется, а хвастается, красуется – за неимением аудитории, перед собой. На самом деле Во-Ин-Талли очень любит свою работу и соскучилась по дому в командировке, хочет поскорее вернуться в свой туманный сад, где пока она ездила, наверняка расцвели первые иринии. Ну или не расцвели.

Состав замедляет ход, ползет вдоль перрона, Во-Ин-Талли, слегка раздосадованная тем фактом, что некоторые процессы подчиняются не ее воле, а чьей-то еще, демонстративно возводит глаза к потолку – сколько можно тащиться? – и нетерпеливо подхватывает чемодан. Наконец поезд останавливается, проводник открывает дверь, Во-Ин-Талли, торжествующе улыбаясь, покидает вагон, вдыхает знакомый, неповторимый, любимый до боли в сердце горький запах цветущих зимних садов, мокрой земли, дыма ночных ритуальных костров, Валя растерянно смотрит вслед удаляющемуся от остановки пригородному автобусу: что я наделала, где я вышла, зачем?

Валя оглядывается по сторонам; ладно, где я, предположим, понятно, Новая Вильня, улица Парко, самая дальняя жопа мира, но родная, знакомая жопа, то

есть ясно, как из нее выбираться, рядом конечная остановка семьдесят четвертого, можно без пересадок доехать до центра, даже такси не придется вызывать. Но господи боже, как я сюда попала? – думает Валя. – Что вышла гораздо раньше, чем собиралась, это еще ладно бы, но Новая Вильня – восточная окраина, а я возвращалась из Тракая, значит должна была въехать в город с противоположной стороны!

На самом деле Валя отлично помнит, как выходила из поезда на вокзале и что это был какой-то совсем незнакомый, но для той, которая выходила, знакомый вокзал. Валя помнит даже, кто именно из этого поезда выходил, вернее, какая она в тот момент была – счастливая, нетерпеливая, немного сердитая, привыкшая, господи боже, как сформулировать – командовать? повелевать? Скорее просто к тому, что обычно реальность движется в полном согласии с ее волей, а поезд с волей не согласовывался, слишком долго тормозил, поэтому на него и сердилась – не всерьез, понарошку, как на неласкового, не позволяющего себя погладить уличного кота. Сейчас вспоминать смешно и почему-то совсем не страшно, хотя, наверное, должно быть страшно, когда сходишь с ума.

Что это было вообще? – думает Валя. – Я же нормальная, никогда ничего такого, и вдруг – все, привет. Помню о себе то, чего не случилось, и никак не могло, но от этих ложных воспоминаний мне почему-то так весело и хорошо, как никогда в жизни не было. А если и было, то в раннем детстве, когда еще почти не умеешь думать, только существовать и чувствовать. Очень давно.

В этот момент Валя наконец замечает, что рядом с ней стоит чемодан. Большой, серебристый, тот самый. Тот самый, с которым я – не я, та, другая – ехала в поезде. Та, которая примерещилась. Совсем незнакомая, чужая, очень счастливая, властная, все-таки может быть немножечко я, – думает администратор языковых курсов Валя, пока ее руки, не дожидаясь соответствующей команды, открывают чемодан Младшей Сумеречной Начальницы Во-Ин-Талли. Чемодан наполовину пуст, а наполовину полон туманом, туман клубится над автобусной остановкой «улица Парко», стекает по склонам Павильняйских холмов, плывет над рекой, приближаясь к сердцу Старого города, весь город окутывает этот туман.

Это я, значит, вернулась из командировки, – с холодным спокойствием думает Валя, сидя на автобусной остановке. – И привезла нам туман.

6. Зеленый Каппа[2 - Каппа – водяной в японской мифологии.] в горах

Состав и пропорции:

1 часть ликера TatraTea;

1 часть сакэ;

чайная ложка сока имбиря;

лимонад Ramune со вкусом маття;

сок половины лайма;

сироп зеленого чая.

Охлажденные ингредиенты налить в высокий стакан, наполнить льдом и долить лимонадом. В половинку лайма без мякоти аккуратно налить чайный сироп. Положить в центр стакана.

Сабина

Сабина выходит из пятиэтажного дома на улице Ринктинес, она тут сейчас живет в квартире… ну, вероятно, близкого друга, раз уступил ей свое жилье. Или щедрого мецената, или поклонника, или старого должника; факт, что квартира пока свободна и до какой-нибудь даты моя, – объясняет себе Сабина в тех редких случаях, когда ей приходит охота что-нибудь себе объяснить. Прямо сейчас она понятия не имеет, как завладела этой квартирой, но когда – если – хозяин (хозяйка?) объявится, Сабина его, конечно же, сразу узнает. Не факт, что действительно вспомнит историю их отношений, но скажет то, что от нее ожидают, на том языке, на каком следует говорить. Короче, это точно не повод

для беспокойства, пусть идет, как идет. Чтобы удержаться на поверхности моря, не обязательно помнить, как оно называется, где находится пляж, какой дорогой, как и с кем сюда добиралась, кто сторожит одежду, куда потом собиралась, достаточно просто плыть. Сабине нравится думать, что ее жизнь – это море. Она – умелый пловец.

Словно бы в подтверждение, в кармане куртки вздрагивает телефон, сообщение в мессенджере, по-польски, с латвийского номера, от абонента WV: «Если захочешь, в квартире можно остаться аж до пятого января, обнимаю». Сабина отвечает: «Отлично, спасибо огромное», – и улыбается: ну надо же, можно остаться! То есть, получается, раньше было нельзя? И потом, после пятого января снова станет нельзя? Забавно. Интересно, кто придет меня выселять? Впрочем, до пятого января еще далеко, целый месяц, мне столько, наверное, и не надо. Но все равно приятно, что в квартире можно остаться. Неохота прямо сейчас куда-то переезжать.

Когда Сабина о чем-то думает «неохота», – это означает, что время делать это пока не пришло. А когда придет, ей сразу захочется, да так сильно, что никто не удержит; с другой стороны, кому бы могло понадобиться зачем-то меня держать? – весело думает Сабина, перепрыгивая через оказавшуюся на ее пути скамейку, не потому, что давала обет всегда ходить по прямой, это все-таки вряд ли, а просто так, от избытка сил.

Интересно, – думает Сабина, – а я вообще давала какие-нибудь обеты? В обмен на заклинание «атрэ хэоста», бесконечно длящее жизнь? По уму, должна была, да. Это прикол, конечно: дать обет и его не помнить, но неукоснительно исполнять. А может, кстати, в этом и заключается мой обет – обо всем забывать?

Думать об этом Сабине не мучительно, а весело и интересно. Ей часто бывает весело. И интересно практически все.

Сабина идет через двор, вернее, через множество почти одинаковых дворов, застроенных старыми типовыми пятиэтажками и панельными девятиэтажками, чуть поновей. Так себе зрелище, но Сабину оно совершенно устраивает, она с удовольствием смотрит по сторонам – на грязноватые светлые стены, разноцветные автомобили, голые черные ветви деревьев, турники и песочницы, пустые по случаю буднего зимнего дня. Сабине все равно, где ходить и на что

смотреть. С ее точки зрения, красивых и некрасивых домов не бывает, дома это – ну, просто дома. Они нужны, чтобы люди жили не на улице, а под крышей, в тепле, и в этом смысле все дома, кроме заброшенных и недостроенных, одинаково ценны – в них живут. Впрочем, в заброшенных жили раньше, а в недостроенных будут жить когда-то потом.

И ко всему остальному, что можно увидеть, когда идешь по городу – дворам, тротуарам, деревьям, троллейбусам, клумбам, витринам, автомобильным стоянкам, трансформаторным будкам, ангарам, фонарным столбам и мостам – у Сабины такое же отношение. Если есть, значит зачем-то нужны, спасибо, пусть будут. А как что при этом выглядит, особой разницы нет.

Не то чтобы Сабина была нечувствительна к красоте. Просто красоту она видит в движении света, пронизывающего весь мир. Людям обычно это зрелище недоступно, Сабина в курсе, поэтому вслух о невидимом свете не говорит. Иногда ей жаль, что не с кем его обсудить. Было бы здорово. Все равно что пойти на выставку с понимающим другом, чтобы шептаться: «Смотри какое!» – и хором огорченно вздыхать: «Ой нет, здесь надо было не так». Но тут ничего не поделаешь, Сабина одна.

По правде сказать, движение света редко бывает настолько красиво, что стоишь и смотришь, забыв, как дышать. Хотя, справедливости ради, в этом городе красивых фрагментов встречается больше, чем в других городах. Но чаще тайный невидимый свет не льется, а дергается, мелькает, мигает в таком утомительном ритме, что поневоле позавидуешь тем, кто не способен его воспринять.

Ну, это, положим, просто для красного словца сказано – «позавидуешь». На самом деле, конечно же, нет. Нечему тут завидовать. Не видеть несовершенство мира – не выход. Выход – все видеть и по возможности исправлять. Сабина умеет. Это ее любимое занятие – дирижировать невидимым светом, выравнивать его яркость и ритм. Сабина знает (она не помнит, откуда, то ли где-нибудь научилась, то ли изобрела сама) специальные жесты, почти незаметные посторонним, а если даже кто-то заметит, не придаст значения – подумаешь, какая-то тетка на улице резко взмахнула рукой. От этих жестов мучительно мельтешащий невидимый свет начинает плавно течь и ровно сиять. Иногда всего на минуту, а иногда надолго. Может быть, вообще навсегда. Но это не проверишь, конечно. Чтобы проверить, надо вечно жить в одном городе, а Сабине нравится часто переезжать.

Но проверять и не надо. Как получилось, так получилось, любое мнимальное изменение лучше, чем совсем ничего. А самой Сабине для радости нужен не результат, а сам процесс исправления, когда от одного движения руки устанавливается гармония и рождается ей одной очевидная красота. В такие моменты она не то чтобы вспоминает, скорее, всякий раз заново понимает, зачем вообще родилась.

Поэтому когда Сабину спрашивают о профессии – очень редко, она производит впечатление человека, к которому с вопросами лучше не приставать – так вот, если все-таки спрашивают, Сабина всегда говорит, что она художница. Кем еще считать себя человеку, которого, по большому счету, интересует только одно – красота. А что эту красоту никто не увидит глазами – дело десятое. Все равно как-то, да чувствуют. Люди чувствуют гораздо больше, чем способны осознавать.

Сабина выходит на улицу Кальварию и направляется к Зеленому мосту. Когда покидала дом, никаких особых планов у нее не было – пойти, куда понесут ноги, посмотреть, как по-разному в разных местах светится мир, внести исправления, где и когда захочется; в общем, все как всегда. Но вот прямо сейчас она ощущает желание погадать, сильное, простое и скорее приятное, как голод, который легко утолить. Гадание для Сабины тоже способ изменять течение света – в человеке, который к ней за этим придет. Особое удовольствие, не каждодневное, можно сказать, праздничное усилие. Человек – объект уникальный. Микроскопический, незначительный и одновременно – целый огромный мир. Такой парадокс.

Сегодня, – думает Сабина, – как раз подходящее настроение. Сегодня Канон Перемен мне отлично зайдет. Пойду в ту кофейню с камином… нет, лучше поеду. Хочу побыстрее! Остановка через дорогу, автобусы меня любят, нужный сразу придет.

Остановка украшена рождественской рекламой: мужчина везет на санках ребенка с кучей подарков в разноцветных пакетах. Сабина на миг застывает перед рекламным щитом – что это? Почему так счастливо колотится сердце? Почему мне кажется, будто эта бесхитростная картинка – про меня? И уже в автобусе вспоминает: снег, зима, санки, темнота, огни вдалеке. Когда я была маленькая, мама катала меня на санках. Или не мама? Неважно, кто-то хороший

катал. У меня было отличное детство, какое счастье, что это так! Даже если я только что сочинила про снег и санки, все равно теперь оно – правда. В моем положении нет особой разницы, придумывать, или вспоминать.

Я

Я сижу на крыше дома, доставшегося мне когда-то в наследство от деда. Когда дед умер, мне едва исполнилось восемнадцать, только-только школу закончил; на самом деле, большое ему спасибо за то, что продержался так долго. Я – поздний ребенок, и мать тоже поздняя, даже по нынешним меркам, то есть дед уже совсем старым был, когда умер, девяносто два года, не кот чихнул.

Я почему говорю спасибо – да потому, что без деда, к которому можно было прийти в любое время и оставаться, сколько захочешь, и жаловаться, и хвастаться напропалую, врать с три короба, выдавать свои самые тайные тайны и просто молчать, – в общем, не уверен, что без дедовской беспечной усмешки и убежища в его доме я бы пережил превращение из ребенка во взрослого человека. До сих пор помню, какой это был лютый ужас – словно лучшую часть тебя положили под пресс и выжимают из нее жизнь, силу, смысл и все остальное, что имеет значение, причем даже не потому, что оно кому-то понадобилось, а просто чтобы у тебя всего этого больше не было. То есть все твое драгоценное даже не пожирают какие-то жуткие чудища, оно просто так утекает, потому что время пришло, и ты сам постепенно становишься жутким чудищем под названием «обычный взрослый человек». Все понимаешь, отчаянно, всем собой не соглашаешься превращаться, но превращаешься все равно.

Ну, правда, я тогда не до конца превратился. Слегка подпортился, но все-таки уцелел. Остался невыносимым упертым психом, способным желать исключительно невозможного, ежедневно грозить кулаком небесам и просить, а убедившись в полной бесполезности просьб, отчаянно требовать причитающихся мне по праву – то есть просто по факту рождения – невообразимых чудес, наполняющих смыслом всякую жизнь.

Короче, дед меня натурально спас – и своей долгой жизнью, и оставленным после смерти наследством. Где бы я сейчас был, если бы не этот дедовский дом.

Да пожалуй, нигде бы уже и не был, – вот о чем я думаю, сидя на крыше дома, который служил мне убежищем в самые черные дни, то есть практически всю мою человеческую жизнь. И до сих пор остается, хотя быть сейчас моим домом – дело нелегкое. Но он как-то справляется. Специально ради меня научился скитаться с места на место по речным берегам, становиться незаметным для человеческих глаз, а тем, кто все-таки его разглядит, казаться нежилой, негодной развалиной, которую вот-вот снесут. Давным-давно уже не от чего, да и некому убегать, а убежище все равно осталось. И это, конечно, гораздо лучше, чем наоборот. Был бы дом, а что с ним делать – найдется. Например, безлунной пасмурной зимней ночью сидеть на крыше, до ушей закутавшись в одеяло. Впрочем, судя по тому, что у меня даже кончик носа не мерзнет, на улице сейчас довольно тепло.

Угревшись, я почти начинаю дремать и лениво думаю, что следовало бы вернуться в дом и там уже дрыхнуть, сколько душе угодно, потому что тело у меня этой ночью вполне человеческое, надо его беречь.

Думать о том, как я вот сейчас, буквально через минуту встану и куда-то пойду, легко и приятно, а вставать и идти – не очень. Я бы с удовольствием превратился в туман, вот уж кому ни вставать, ни куда-то ходить не надо, но какой из меня сейчас, к лешим, туман.

Ладно, ладно, – лениво думаю я, – встаю, вот уже встал практически, – и даже начинаю понемногу разматывать кокон из одеяла, но в этот момент из ночной темноты возникает перламутрово-белая маска с пустыми прорезями для глаз, за которыми плещется зыбкая, явственно влажная тьма.

Покажи мне такое лет двадцать назад, я бы с перепугу коньки отбросил, хоть и считался на общем фоне почти возмутительно храбрым, да и сам себя таковым наивно считал. Но с тех пор я много чего интересного навидался и успел убедиться, что в мире есть только одно по-настоящему страшное зло – полное отсутствие чудесных видений. Так что грех придираться к их оформлению. Лишь бы одолевали почаще, спасибо, беру.

К тому же конкретно это ужасающее лицо и тьма, которая у него вместо глаз, очень хорошо мне знакомы. Поэтому я улыбаюсь и говорю:

– Вот это здорово ты придумал – наконец объявиться. Где тебя черти носили целых четыре дня?

– Никто меня никуда не носил, – надменно отвечает Нёхиси. – Я сам носился, где душа пожелает. И сюда тоже сам принесся. Прикинь, всего в жизни добился сам! – и страшно довольный собой, хохочет всей своей белоснежной маской и всей тьмой, которая у него вместо глаз, и той тьмой, которая нас окружает, и безлунной ночью, и погасшими окнами соседних домов, и не выпавшим, хоть и обещанным всеми прогнозами снегом, и отсутствием уличных фонарей. Но тут же хмурится: – Погоди, а разве прошло аж четыре дня? Ты серьезно? Прости, я был совершенно уверен, что загулял всего-то на вечер. Вечно я во времени путаюсь. Хоть часы носи!

– Так ты уже загубил три штуки, – напоминаю я. – Последние почти полтора часа продержались, зато потом разлетелись даже не на куски, а практически на молекулы…

– На самом деле не полтора, а почти целых восемь часов! – возмущается Нёхиси.

От возмущения Нёхиси обычно становится антропоморфным; вероятно, человеческая форма наиболее хорошо приспособлена к возмущению, и испытывать его так удобней, и проявлять. Вот и теперь у Нёхиси сразу появляются руки с ногами, а на месте пустых темных прорезей сверкают пока рубиново-красные, но в остальном вполне человеческие глаза.

Спорить бессмысленно: мы оба правы. Когда Нёхиси нацепил на себя часы, время пришло в такое смятение, что стало течь по-разному в разных точках городского пространства. У меня дома, где мы тогда сидели, действительно прошло почти восемь часов, в окрестных кварталах – от четырех до шести, в Старом Городе около трех, а, к примеру, возле Стефановой конторы – меньше полутора, это я точно знаю, он же потом ругаться ко мне прибежал. И в кои-то веки был совершенно прав. Город есть город, тут кроме нас еще и нормальные люди живут. Сколько народу в тот день безнадежно опоздало на разные важные встречи и просто с работы домой, мне даже навскидку подсчитывать страшно. То есть не то чтобы именно страшно, скорее, совестно, хотя это была не моя идея – на Нёхиси часы надевать. Он сам захотел обновку, а я только восхищенно взирал.

– В общем, забей на часы, – говорю я Нёхиси. – От них одни неприятности. Хочешь впасть в ересь тайм-менеджмента, ориентируйся на колокольный звон.

Взгляд рубиновых глаз становится просветленным.

– А. Так колокола не когда попало звонят? А чтобы обозначить время? – восхищенно переспрашивает Нёхиси. – Ну надо же, как все в мире разумно устроено! Какие они молодцы!

В ответ на его похвалу начинает трезвонить колокол ближайшего к нам костела Святого Варфоломея, к нему немедленно присоединяются колокола костелов Святого Франциска и Святой Анны, просыпается Кафедральный собор, ну и все, пошло дело, их теперь не заткнешь. Как в деревне – одна собака залает, остальные тут же подхватят. Вот и у нас по всему городу начался перезвон.

– Сейчас не считается, – поспешно говорю я. – Это колоколам просто понравилось, что мы о них говорим. Но обычно они все-таки звонят четко по часам.

– Можно подумать, у нас тут бывает «обычно»! – хохочет Нёхиси. – Ну и как им теперь доверять?

Он прав. Собственно, мы сами немало сделали для того, чтобы в нашем городе не было никакого «обычно». И теперь пожинаем плоды.

– Да ладно, не парься, – наконец говорю я. – Подумаешь, великое дело – время. Кто оно такое, чтобы ты ради него хлопотал? Ну будешь и дальше путаться, тоже мне горе. Так даже интересней: пропал куда-то – ура, объявился! – оп-па, опять пропал.

– Тогда ладно, – легко соглашается Нёхиси. И, помолчав, добавляет: – Мне показалось, ты какой-то подозрительно мрачный. Прямо как в старые времена.

– Не мрачный. Просто устал. С утра внезапно человеком проснулся. И весь день занимался делами. Оказывается, пока мы с тобой развлекались, у меня скопились разные типично человеческие дела.

– Да ладно, – недоверчиво говорит Нёхиси. – Какие у тебя могут быть человеческие дела?

– Во-первых, диван, – я демонстративно загибаю палец на левой руке. – Его надо было выбросить еще лет двадцать назад, да все руки не доходили. Ну вот, наконец дошли. Я как раз удачно проснулся в совершенно отвратительном настроении. Но не в унылом, как раньше, а в боевом. Тони в таких случаях говорит: «злой как черт», но по-моему, он преуменьшает мои достижения. Людям свойственно недооценивать старых друзей.

– Преуменьшает, факт, – тоном знатока подтверждает Нёхиси. – Чертям, кого бы этим словом ни называли, до тебя далеко.

– Спасибо, друг. Всегда приятно лишний раз получить высокую оценку своих заслуг от эксперта. В общем, дивану не повезло, под горячую руку попался. Я его порубал топором. Можно сказать, мелко нарезал. Как чеснок для салата. И спалил на заднем дворе. Это оказалось настолько духоподъемно, что я озверел окончательно…

– Ох, я бы на это посмотрел!

– Да ну, смотреть там как раз было не на что. Ничего интересного я не творил. Просто отыскал телефон…

– И завел Инстаграм? – с нескрываемым ужасом перебивает Нёхиси. – Так и знал, что нельзя тебя надолго одного оставлять!

– Зачем сразу предполагать худшее? Не настолько плохи были мои дела. По телефону я позвонил Стефану и сообщил, что у него проблемы. Точнее, у Граничной полиции города Вильнюса, которой он якобы мудро руководит. Пока они там одуревших от скуки леших гоняют с холма на холм и ловят мелких демонов по подвалам, Старший городской дух-хранитель мало того, что без единого путного алтаря голодный сидит, так еще и вынужден спать, как сирота на голом полу. И какие сны в том смертном сне приснятся всему городу сразу, пан начальник Граничной Полиции сто пудов не хочет узнать. Стефан хохотал как гиена, но, будучи человеком, не лишенным воображения, убоялся зла и отправил меня в Икею на служебном автомобиле. И под конвоем. В смысле, с помощником, чтобы мне одному мебель на горбу не таскать.

– То есть тебя отвезли в магазин? – изумленно переспрашивает Нёхиси. – Ты был в магазине? Ну и дела!

– Можешь себе представить. Я провел там четыре часа своей жизни. Причем отличных часа! Оттянулся по полной программе. Перемерил всю мебель. В смысле, на всем, включая столы и коробки, как следует полежал. Альгирдас говорит, что поседел так рано исключительно от предчувствия, что ему однажды предстоит претерпеть. Врет, конечно. На самом деле, он тоже неплохо провел там время: купил беспредельно полезные рюмки по имени «Svalka» и арестовал чуть ли не два десятка посторонних кошмаров, контрабандой завезенных из Белоруссии. Не представляю, как это возможно технически, но факт остается фактом: в новеньких икейских подушках прятались белорусские страшные сны и ждали, пока их кто-нибудь купит и унесет домой. Я предлагал проявить лояльность к трудовым мигрантам из соседней тоталитарной страны, но Альгирдас, конечно, не проявил. У него вместо сердца камень. Возможно, точильный; вот совершенно не удивлюсь. Выдворил бедные маленькие кошмарчики за пределы граничного города; ладно, на самом деле все правильно сделал, это я и сам понимаю. Наши родные кошмары в сто раз интересней и веселей. В общем, мы отлично размялись, гоняясь за взбесившимися подушками. Уж не знаю, на что эти кошмары рассчитывали, но они реально пытались прилюдно от нас удирать! Я, между прочим, уж на что был в тот момент человек человеком, а пятерых негодяев собственноручно поймал. Альгирдас теперь говорит, мне с такими способностями надо было не дурью столько лет маяться, а сразу после школы наниматься к ним в Граничный отдел.

– Надо же, как, оказывается, интересно ходить по магазинам! – восхищается Нёхиси. – На будущее учту. Так это подушки так тебя доконали? Ты за ними гоняться устал?

– Да ну, подушки – не работа, а удовольствие. А вот собирать кровать по инструкции – реально трындец. Нам тебя мучительно не хватало. В смысле, твоего всемогущества. Следует быть беспредельно всемогущим, когда берешься самостоятельно собирать мебель из Икеи. Но мы все равно победили. Альгирдас присвоил себе титул великомученика и требует поставить ему в саду памятник в полный рост. Имеет право. Скульптором-монументалистом я отродясь не был, но ничего, где наша не пропадала. Правильный ответ – везде пропадала и отлично себя чувствует. Короче, выкручусь как-нибудь.

– То есть у тебя все в порядке, просто устал собирать мебель? – заключает Нёхиси.

– Ну да. А еще больше – быть человеком, который ее полдня собирал. Ладно, по крайней мере, тебя-то я вижу и слышу. Значит, не так уж плохи мои дела.

– Ты спать иди давай, – строго говорит Нёхиси. – Я много лет изучал особенности устройства людей и сделал удивительное открытие: когда человек устал, ему непременно надо поспать. В этом смысле, – с воодушевлением продолжает он, – люди совершенно не отличаются от духов! Во всем такие разные, поначалу кажется, будто вообще ничего общего. А в главном, можешь себе представить, одинаковые совсем!

– А сказку на ночь расскажешь?

– Чего?! – изумленно переспрашивает Нёхиси.

– Сказку. Жили-были, все вот это вот. Ты же сам когда-то придумал, что зимой надо читать книжки спящим деревьям. А чем я хуже дерева? Мне тоже иногда хочется послушать сказку. Вот прямо сейчас точно отлично зайдет.

– Жили-были, – бодро начинает Нёхиси и надолго умолкает, задумавшись над сюжетом. Оно и понятно: нелегко сочинять человеческие истории, будучи котом, в которого он превратился, едва моя голова коснулась подушки. У всех нас свои пристрастия и привычки, так что не мне его упрекать.

– Да ладно, – говорю я, – забей. «Жили-были» – тоже вполне себе сказка. Благородный минимализм, оставляющий полную свободу воображению слушателя. И мое уже заработало в полный рост… Когда я был маленький, мне дед примерно так сказки рассказывал. «Жил да был крокодил, и что он, как думаешь, делал?» – и я сразу подхватывал: «Ходил по дворам, воровал с веревок простыни и трусы и ими питался, чтобы людоедом не быть».

– Так это ты изобрел веганство? – возмущается Нёхиси.

Его недовольство вполне понятно. Сложно одобрительно относиться к идее пищевых ограничений, когда ты – кот.

– Не изобрел, а всего лишь предчувствовал. И пытался предупредить человечество. Но, сам видишь, не преуспел.

– Да, быть пророком – дело неблагодарное, – соглашается Нёхиси. – Как говорят в таких случаях, врагу не пожелаешь. Хотя если бы у меня вдруг завелся враг, я бы, может, и пожелал.

– Слушай, а вообще можно узнать, как мой дед после смерти устроился? Что с ним стало? Он же… ну, хоть как-нибудь где-то живет? – спрашиваю я.

– Жизнь сознания бесконечна, – отвечает Нёхиси, с трудом подавляя зевок. – Поэтому «как-нибудь где-то» совершенно точно живет – и твой дед, и вообще кто угодно. Но котом про такие вещи говорить сложно. Да и не котом я тебе тоже ничего особо интересного не расскажу. Такие, как я, живут непрерывно, по прерывистому существованию я не специалист. Просто никогда об этом не задумывался. У меня и знакомых-то таких не было, пока сюда не попал. Но я неоднократно слышал из разных авторитетных источников, что, по большому счету, особой разницы нет.

– Ладно, – говорю, – это уже неплохо. Мне, знаешь, почему-то стремно было тебя на эту тему расспрашивать. На самом деле, только потому и решился, что ты сейчас – сонный кот и вряд ли много расскажешь. Ну, ты и не рассказал.

– Я, наверное, понимаю, – неожиданно соглашается Нёхиси. – Незнание – это как слишком короткая сказка. Тоже дает свободу воображению. И вместо одной правды у тебя становится много разных прекрасных правд. Я сам совсем недавно, благодаря ограничению всемогущества, понял, как это бывает интересно и здорово – чего-то не знать.

7. Зеленое болото

Состав и пропорции:

смесь для коктейлей «Margarita Mix» – 45 мл;

дынный ликер «Мидори» – 45 мл;

текила – 30 мл;

сливки – 30 мл;

лед; свежая мята;

оливки – 2 шт.

В охлажденный бокал хайбол положить мяту. «Margarita Mix», «Мидори», текилу и лед смешивать в блендере в течение нескольких секунд. Налить в бокал «тумблер» (tumbler). Аккуратно добавить густые сливки. Нанизать оливки на шпажки и использовать для украшения.

Подавать немедленно.

Александра

Александра открывает глаза и смотрит на море. Море – первое, что она видит, проснувшись, не только сегодня, всегда, и это, конечно, лучшее из всего, что с нею тут происходит. Море – больше, чем утешение, пока смотришь на море, жизнь почти слаще, чем сон, даже тот, который снился сегодня – волшебное королевство, куда можно уехать на каком-то тайном метро.

Между домом Александры и морем – узкая полоса песчаного пляжа, окно в спальне огромное, почти в половину стены, Александра никогда его не завешивает, даже если ложится под утро. Свет не мешает ей спать; впрочем, темнота тоже ей не мешает, и музыка, которая каждую ночь играет в пляжном баре поблизости, и громкие голоса. Александра только теоретически знает (на самом деле, конечно, не просто «знает», а помнит), что людям, в принципе, что-

то может помешать спать. От былых бессонниц и следа не осталось, теперь сон – лучшее, что ей удается, единственный оставшийся смысл и такое удовольствие, что ради возможности спать в этом доме стоит жить дальше так долго, сколько получится. То есть не-жить. Существовать, бодрствовать, пережидать паузы между снами. Потому что настоящая жизнь начинается, когда засыпаешь. Сны Александры очень похожи на жизнь.

Александра встает с постели легко, как в детстве; приятно, что больше ничего никогда не болит. Александра еще молодая, ей не исполнилось сорока (и теперь уже не исполнится, разве только формально, можно отсчитывать годы и справлять дни рождения, да непонятно, зачем), но со спиной она успела намучиться так, что каждое утро с неизменным удовольствием отмечает: «Надо же, не болит».

Александра подходит к большому зеркалу, в нем она отражается в полный рост. Сама попросила его здесь повесить, хотя никогда не считала себя красивой, да и никто не считал; это больше не имеет значения, но все равно до сих пор обидно. Самая несправедливая штука в мире – красота. Однако теперь зеркало неизменно радует Александру – сам факт, что она по-прежнему в нем отражается. Высокая, узкобедрая, узкоплечая, слишком тощая даже по меркам эпохи повальной моды на худобу, а лицо как у всей материнской родни круглое, с двойным подбородком, словно к костлявому телу для смеху приставили голову какой-то толстухи. У этой толстухи, про которую почти невозможно думать «я», слишком маленький нос, слишком пухлые губы, слишком глубоко посаженные глаза. Но зато она есть, теперь только это и важно. Я есть, – думает Александра, снимая ночную рубашку и оглядывая свое нескладное тело с выпирающими ребрами и ключицами. – Я есть, а не «была». А что просвечивает насквозь, ничего не поделаешь; впрочем, это даже красиво. Как будто тело отлито из дымчатого стекла.

Александра надевает длинное красное платье с розовыми и голубыми цветами; сказал бы ей кто-то, что она будет такое носить, ни за что не поверила бы; во все остальное – черт его знает, Александра всегда была фантазеркой. Но что станет одеваться в такие безвкусные платья – нет, нет и нет. Однако носит, и дело не в местной моде, которая, во-первых, настолько разнообразна в своих проявлениях, что ее и модой-то трудно считать, а во-вторых, никто не обязан следовать моде, какой бы она ни была. Просто дурацкие платья почему-то кажутся Александре гарантией безопасности, будто пока на тебе платье в цветочек, ничего страшного не случится, женщины в платьях в цветочек не

исчезают бесследно, не истаивают, как дым; на самом деле оно, конечно же, так не работает, нет.

На завтрак – Александре нужна еда, как обычному человеку, и это очень удачно вышло, одним удовольствием больше, говорят, далеко не всем ее предшественникам так везло – так вот, на завтрак сегодня у нее мандарины, традиционный омлет с картошкой, свежие, еще теплые булки и горячий густой шоколад. Александра завтракает на открытой веранде, благо погода располагает – почти всегда, не только сегодня. Зимой здесь обычно тепло, а летом не так жарко, как дома; впрочем, «дома» это теперь и есть здесь.

– Кофе точно не надо? – спрашивает Марина.

Марина работает у Александры с самого первого дня, то есть уже третий год, а все не может привыкнуть, что кофе не надо, каждый раз обязательно переспрашивает. А Александре правда не надо, ей не нравится кофе. Лучше уж морскую воду хлебать, чем его. В юности, конечно, пила за компанию с домашними и друзьями, щедро сдабривая то сахаром, то молоком в надежде постепенно привыкнуть к горькому вкусу, или хотя бы понять, что в нем люди находят, не преуспела ни в том, ни в другом и однажды решила больше себя не мучить. Жизнь и без кофе сложна. И не-жизнь сложна.

– Спасибо, точно не надо, – говорит Александра. И спрашивает: – Ты-то сама уже ела? Если хочешь, садись со мной.

Марина знает, что это на самом деле не столько великодушное предложение, сколько просьба. Александра не любит подолгу оставаться одна. И отвечает:

– Я как раз кофе допить не успела. Схожу за чашкой. И, пожалуй, стащу у тебя круассан.

– Давай, – улыбается Александра. И дождавшись ее возвращения, одобрительно говорит: – Уже совсем не хромаешь. Прошла нога?

– Да конечно прошла, что ей сделается! – беззаботно отвечает Марина.

Хотя с ногой у Марины еще недавно была беда. С такими серьезными переломами обычно сперва долго лежат, пока кость срастется, а потом заново учатся ходить. Но Марина всего пару дней полежала, потом бодро запрыгала по всему дому на одной ножке, еще неделю хромала, а теперь уже и незаметно никакой хромоты, даже если специально очень придирчиво приглядываться. А все потому, что лечилась здесь, а не в госпитале. В этом доме раны и переломы заживают почти мгновенно. И другие болезни быстро проходят, даже у тех, от кого отказались врачи. Ну, то есть как – отказались. Просто прямо сказали: «Ступайте, проситесь пожить в доме Маркизы Мертвых, это ваш единственный шанс».

Местные вообще редко болеют – ну, сравнительно редко, по все еще привычным для Александры меркам. И, по тем же меркам, выздоравливают обычно легко, как по волшебству. Но все равно в дальних комнатах этого дома почти всегда кто-нибудь да живет в надежде на скорое исцеление. Александре не жалко, дом большой, соседи ей не мешают; честно говоря, с ними тут даже спокойней и веселей, хотя мало кто попадается ей на глаза. И совсем уж редко выходят посидеть вместе, поужинать, выпить, поговорить. Стесняются, да и побаиваются, все-таки Александра им совсем чужая, родом с Другой Стороны. Но человеческое присутствие в доме все равно ощущается, и это приятно. А что они тут каким-то образом выздоравливают, так вообще отлично. В детстве Александра мечтала стать врачом, у нее все куклы вечно сидели перебинтованные с картонными градусниками под мышкой; потом передумала, а детская мечта все равно взяла и сбылась, вот таким причудливым образом, но это лучше, чем ничего, – говорит себе Александра. Хотя, конечно, в голове не укладывается, что лечить людей можно самим фактом своего зыбкого существования, ничего для этого специально не делая, просто быть.

– Тебе вообще нормально здесь так долго работать? – спрашивает Александра Марину. – Не тоскливо жить в этом доме? Не тяжело на душе?

Александра давно хотела об этом спросить, да все не решалась. Боялась, вопрос прозвучит бестактно, как будто она намекает, что Марине пора увольняться. Но теперь-то, наверное, можно, – думает Александра. – После того как Марина сломала ногу, поскользнувшись на мокрой лестнице, а я наотрез отказалась даже на короткое время кем-то ее заменять, еще и суп ей сама варила, и чертов кофе, и носила в кровать, как родной сестричке, вряд ли она решит, что я хочу от нее избавиться. Скорее, лишний раз убедится, что боюсь ее потерять; ну так

это правда, а правду не скроешь. Да и зачем скрывать.

Марина молчит, задумчиво водит пальцем по деревянной столешнице. Она часто так медлит с ответом, как будто сперва записывает его невидимыми буквами, и только потом произносит вслух.

– Я же на год сюда нанималась, – наконец говорит Марина. – Как все до меня. Контракт всегда подписывают на год. Дольше года в этом доме раньше никто не работал. Как раз и затосковать успевали как следует, и денег скопить. И я скопила, сколько хотела. Смотрю, год прошел, а тоски почему-то нет. То ли все до меня такие нежные были, то ли с тобой тут лучше живется, чем в прежние времена, не знаю, мне не с чем сравнивать, я же в этот дом при тебе впервые вошла. В общем, решила остаться еще на год. Деньги отдала папе с братом, они давно мечтали открыть кафе, а у нас в семье все простые люди, мир по нашему желанию не меняется, ничего само собой не возникает в кладовке, не появляется на дне сундука, и даже ветер не приносит с ярмарки счастливый лотерейный билет. Таким как мы свой бизнес с нуля не начать. Зато работать они оба умеют и мечтать не боятся, отлично ведут дела. Четверть дохода от кафе моя, и в последнее время это стали вполне приличные деньги. Захотела бы, могла бы больше ни дня не работать, только им на кухне иногда помогать. Но я в конце лета третий годовой контракт подписала. Сказать, сама знаешь, что угодно можно. А контракт – настоящий ответ на вопрос.

– Тоже правда, – улыбается Александра. И, помолчав, признается: – Просто я думала, а вдруг ты только ради меня терпишь. Из-за того, что я поначалу хвостом за тобой ходила, просила держать за руку, говорила, что без тебя пропаду, и тебе теперь совесть не позволяет уйти.

– Ну, немножко из-за этого тоже, – кивает Марина. – Но знаешь, Себастьян, который до меня в этом доме работал, рассказывал, какая тоска его под конец разобрала. Как будто уже утопился с горя, но разум и память почему-то не потерял, лежишь, как дурак на дне, ждешь, когда тебя начнут обгладывать рыбы, и думаешь: «пусть бы уже скорей». И моя соседка Дора, которая давно, лет двадцать назад, в этом доме работала, примерно то же самое говорила, предупреждала меня, что горько пожалею, никакие деньги не стоят того. В общем, если их рассказы хотя бы на четверть правда, не родился еще человек, ради которого я бы согласилась такое терпеть. Но терпеть ничего не надо, мне жизнь в этом доме пошла на пользу. Раньше я часто неизвестно о чем грустила, не знала, зачем живу и куда себя девать. А теперь… ну, не то чтобы знаю,

просто это больше не повод печалиться. Не знаю, и ладно. Может, потом узнаю. Жизнь длинная, успею еще.

Говорит и смеется легкомысленно, как девчонка. Хотя она заметно старше самой Александры. Но очень красивая. А может, не «но», а как раз поэтому. Здесь почему-то многие люди хорошеют именно с возрастом, молодые бывают разные, но, в целом, примерно такие, как дома, зато непривычно много красивых стариков и старух. Марина не старуха, конечно, а просто – ну, очень взрослая тетка, явно за пятьдесят. И красота у нее не будоражащая, как обычно бывает в юности, а, можно сказать, утешительная. И обнадеживающая, не хуже платьев в цветочек. Кажется, будто рядом с такой красоткой, смуглой, светловолосой, зеленоглазой, высокой и статной, как изваяния жриц с зеркальными лицами в книге про древние храмы, ничего плохого не может случиться, уж Марина точно никому исчезнуть не даст. Хотя Александра и сама понимает, если что, Марина ей ничем не поможет. Она не всемогущая жрица из древнего храма, а обычная тетка, сердечная, энергичная и веселая, простая душа. Может, кстати, потому и прижилась тут со мной, что простая, – думает Александра. – Сложным душам в этом доме несдобровать.

Александра – Маркиза Мертвых, восемьсот восемьдесят восьмая по счету; все говорят, это счастливое, самое лучшее, какое только можно придумать число, и пророчат Александре великое будущее. В смысле достаточно долгое. Мертвые верят, что восемьсот восемьдесят восьмая Маркиза останется с ними если не вечно, то, к примеру, аж на восемью восемь лет.

Да хотя бы просто на восемь, – печально думает Александра. Прежние Маркизы так надолго здесь не задерживались, год, другой, и все, истаял, привет. Говорят, был один старик по имени Пьер, шестьсот какой-то по счету, вздорный и очень упрямый, знатно попил всем крови своими капризами, зато сны видел такие шикарные, что их до сих пор как сказки рассказывают тем, кто умер недавно и его не застал. И вот этот Пьер прожил тут дольше, чем кто бы то ни было, целых семь с половиной лет. Будь их воля, навсегда бы Пьера оставили, черт с ним, дурным характером, лишь бы подольше спал. Но мертвецы не могут отменить неизбежное исчезновение гостя с Другой Стороны, им под силу только замедлить процесс. Так что Александра свои шансы оценивает достаточно трезво. Но все равно надеется стать счастливым исключением из печального правила, как на ее месте надеялся бы любой человек.

На самом деле, титул «маркиза», конечно, не настоящий. Нет тут никаких маркизов, графов и герцогов; вообще никакой аристократии в привычном нам смысле, ни у мертвых, ни, тем более, у живых. Просто словосочетание красивое – «Маркиза Мертвых». Здешние мертвецы романтичны, словно при жизни все как один были поэтами; на самом деле, конечно же, не были, нет.

Александра не какая-нибудь повелительница мертвых, она, скорее, их пленница. Домашний питомец, вроде подобранного котенка. И одновременно источник радости и развлечений. Как говорят те мертвецы, кто постарше и любит высокопарные выражения, подательница благ.

Александра видит сны для мертвецов Элливаля; этот приморский город так называется – Элливаль. Вернее, мертвые, если пожелают, могут смотреть ее сны, что называется, с полным погружением. То есть, по-настоящему, как будто это действительно происходит, их проживать – все подряд, без предварительного отбора, как повезет. Александра не умеет специально управлять сновидениями. Но от нее и не ждут чего-то особенного, всех совершенно устраивает то, что есть. Главное, Александра живая; то есть физически уже не особенно, но эмоционально все-таки да. И сны у нее, как у нормального живого человека, – иногда путаные, бессвязные, а иногда не хуже кино, то счастливые, то страшные, то про любовь. А бывают просто нелепые, например, как будто она зачем-то вернулась в школу и сейчас придется сдавать экзамен, а Александра, конечно, ничего не помнит, забыла давным-давно. Но мертвым даже сны про экзамены нравятся. Тем более что у большинства из них в жизни ничего подобного не случалось. Восхищаются: «Какой упоительный абсурд! Сколько волнений по пустяковому поводу!» – и просят поспать еще.

В обмен на сны мертвецы дают Александре, что могут – дом у Соленого моря, еду, наряды и драгоценности, которые, впрочем, особо некуда надевать. Александре нельзя надолго отлучаться из дома. Прогулка может длиться час, самое большее – полтора. За это время можно – ну, например, искупаться в море, или посидеть в пляжном баре среди живых музыкантов и подвыпивших мертвецов. Или вызывать такси, до центра отсюда ехать около двадцати минут, полчаса походить по оживленным улицам среди высоких нарядных домов, поглазеть, купить, к примеру, пирожных в кондитерской, и скорее обратно. Не потому, что Александре кто-то запрещает гулять сколько влезет и строго за этим следит, просто за стенами дома из нее слишком быстро уходит жизнь – то немногое, что осталось. А дом ее охраняет и бережет.

Александра не может существовать в этой странной волшебной реальности, потому что она не здесь родилась. Попала сюда совершенно случайно, просто однажды каким-то ей самой до сих пор непонятным образом забрела. Что на самом деле забавно: она много о чем невозможном мечтала, но даже в детстве не грезила какой-нибудь «страной фей». И уж конечно ни во что подобное не верила, вообразить не могла, что кроме реальности, данной ей в ощущениях, существует еще какая-то дополнительная, параллельная, и туда можно попасть. Правда, выйти обратно уже не получится. И остаться надолго тоже нельзя – начинаешь таять, как кубик льда, брошенный в теплую воду. Это оказалось совсем не больно, наоборот, приятно. Александре очень понравилось исчезать. Сладкая истома, охватившая тело, невозможный, невообразимый счастливый покой – это было лучше всего, что ей до сих пор доводилось испытывать, так прекрасно, что она совершенно не испугалась, увидев, как ее руки становятся прозрачными. Страшно стало уже задним числом, потом.

Здесь таких как она бедолаг, обреченных исчезнуть невольных пришельцев с Другой Стороны называют «незваные тени». И не любят, потому что боятся, хотя непонятно, чего тут бояться, за всю историю не было случая, чтобы кого-то обидела незваная тень. То есть живые боятся, а мертвые, наоборот, очень любят, если вовремя встретился с мертвыми, считай, тебе повезло. Мертвые могут помочь не исчезнуть, вернее, исчезнуть не сразу, подольше пожить здесь в гостях. Им самим это выгодно. Наполовину истаявшие гости из соседней реальности – что-то вроде моста между мертвыми и живыми. И у них до самого последнего дня остается главная драгоценность, на которой мертвецы Элливаля натурально помешаны – обычные человеческие сны. Потому что во сне можно пережить удивительные приключения, которые им больше не светят ни при каких обстоятельствах. И настоящие человеческие эмоции, которых мертвецам мучительно не хватает: для настоящих эмоций нужно живое тело, мертвые физически не способны их испытать.

Шутка в том, что здешние мертвые не умирают по-настоящему, а остаются жить дальше среди людей. Говорят – Александра не может проверить, правда ли это; с другой стороны, зачем бы им врать – что так происходит только в Элливале, во всех остальных городах и селениях этого странного мира люди умирают самым обычным образом. «Самым обычным» – это в местных реалиях означает, что умершие исчезают мгновенно, полностью, целиком, трупов не остается, хоронить некого – хлоп! – и нет ничего. Александра, большая любительница детективов, когда ей это все рассказали, сразу спросила: «А как же тогда убийства расследовать? Как о них вообще узнают, если нет тела жертвы?» – и ей удивленно ответили: «Ну здрасьте, а ясновидящие в полиции на что?» Вечно

здесь так: о чем ни спроси, тебе сперва скажут: «Ой, да это же очень просто», – а потом начнут объяснять, и ты в очередной раз убеждаешься, что местные только с виду люди, а по сути – что-то принципиально иное. Совсем.

Но Элливаль даже тут считается заколдованным городом, на который с любопытством и трепетом взирают остальные жители этого мира чудес. Строго говоря, Элливаль и есть заколдованный. Здесь в древности жили могущественные жрецы, которые то ли очень боялись смерти, то ли просто из гордости решили ее победить, чтобы не смела против воли разлучать их с любимыми и друзьями; сами они до сих пор здесь, куда бы им деться, но в ответ на расспросы смеются – мы теперь уже и не помним! Может, лукавят, а может, и правда не помнят, все-таки столько тысячелетий прошло. Факт, что эти жрецы что-то такое сделали с городом, как-то так хитро заперли тайный проход, через который сознание после смерти устремляется в неизвестность, что теперь умершие в Элливале остаются среди живых. В здравом уме и при полной памяти, словно ничего не случилось. Только тела изменяются – призрак он призрак и есть.

Здешние мертвецы обычно вообще никак не выглядят и места в пространстве не занимают, потому что тела у них больше нет. Это очень удобно, иначе на побережье уже давным-давно места бы не осталось – страшно подумать, сколько народу здесь умерло за несколько тысяч лет, даже со скидкой на то, что многие старики предусмотрительно уезжают из города, чтобы не застрять здесь призраком навсегда.

В общем, большинство мертвых просто незримо присутствуют в Элливале, не особо беспокоя живых – витают над морем, бродят по улицам города, предаются воспоминаниям и смотрят чужие – сейчас Александрины – сны. Но при желании, если приложат усилие, могут выглядеть почти как настоящие люди, издали не отличишь, однако вблизи заметно, что они – не прозрачные даже, скорее, зыбкие, как вода; большинству лень стараться, пару раз в год сходят в бар, и достаточно, но некоторым так нравится иметь человеческий облик, что они сохраняют форму почти всегда.

Форма формой, однако потрогать мертвеца живой человек не может; то есть может, конечно, просто ни одна из сторон не почувствует ни черта. Но если разучить какие-то специальные хитрые приемы и заклинания, мертвых можно даже крепко, как при жизни, обнять. Таких мастеров немного, но они все-таки есть, и мертвые любят их бесконечно; нет для мертвого большего наслаждения,

чем обняться с настоящим живым.

Александра и сама почти ничего не ощущает, когда прикасается к мертвым, только что-то вроде легкого дуновения очень холодного ветра. С этой точки зрения, Александра все еще слишком живой человек. В смысле, состоит из слишком плотной материи. Живые люди могут к ней прикасаться без всяких там заклинаний; впрочем, они не особо хотят. С одной стороны, Маркизы Мертвых окружены здесь почти благоговейным почтением, с другой, все знают, что Маркиза Мертвых – бывшая незваная тень, и однажды снова станет незваной тенью, так что не стоит связываться, лучше вежливо поклониться, пожелать хорошего дня и идти прочь.

Александра – мост между жизнью и смертью, но ощущает себя живой, совершенно такой же, как прежде, разве что без боли в спине. А так какой была, такой и осталась – мгновенно привязывается ко всем, кто к ней добр, грустит, что она некрасива, и в ее жизни никогда не будет счастливой любви, но по-прежнему втайне мечтает, что все-таки будет, любит жизнь и приютивший ее странный волшебный мир, хочет узнать о нем как можно больше от собеседников и из книг, радуется, что больше не надо ходить на работу, и одновременно жалеет, что не может пойти учиться чему-нибудь простому и интересному, стать, например, водителем, или медсестрой, тревожится о будущем, боится неизбежного скорого исчезновения, как раньше боялась умереть от какой-нибудь страшной болезни, которые не лечат врачи, но вопреки здравому смыслу, верит в чудесное спасение – как в кино, в самый последний момент. И еда ей подходит самая обычная человеческая, а не придуманная местными алхимиками специально для мертвецов, чтобы не скучали без простых земных наслаждений. Впрочем, мало кто из мертвецов любит есть, это развлечение им быстро надоедает, зато выпить они все большие охотники. Здесь винодельческие края, и все местные вина делают одновременно в двух видах – для живых и для мертвых, вино и призрак вина. Технологии древние, здешние уже и не понимают, как можно иначе, всем виноделам известно, что изготовление призрака благоприятно сказывается на качестве основного, материального вина.

Вот вино, кстати, Александру больше не опьяняет – видимо, она недостаточно жива для вина. Зато мертвецкое вино валит с ног буквально с одного глотка, хотя в рту ощущается как безвкусная талая вода. Александра два раза попробовала и больше не стала. Никогда не любила быть пьяной. Когда Александра пьяная, ей мучительно, безнадежно, непоправимо жалко себя.

– Какие у тебя планы? – спрашивает Марина, собирая посуду. С таким искренним интересом, словно у Александры и правда могут быть какие-то планы, отличные от «посижу, почитаю, может, вечером выйду в бар».

– Я к тому спрашиваю, – говорит Марина, – что если ты в город хотела выбраться, ко мне скоро заедет брат. Он на машине, отвезет тебя, куда пожелаешь, а потом доставит назад. Ему нетрудно, наоборот, приятно: во-первых, это не кто попало, а ты. А во-вторых, машина новая, только на прошлой неделе купил, ему сейчас любой дополнительный повод поездить – счастье. И отвезет быстрей, чем таксист.

– Я-то хочу, – вздыхает Александра. – Такой красивый город у вас! Сутками там бы гуляла, жалко, что долго нельзя. И даже недолго – страшно. Каждый раз, когда выхожу из дома, страшно: а вдруг я от этих прогулок быстрее развоплощусь?

– От коротких прогулок хуже точно не будет, – улыбается ей Марина. – А то бы тебя в этом доме на восемьсот замков заперли и для полной гарантии посадили бы на цепь. Мертвые тебя берегут, как сокровище. Что они, дураки – раньше времени такую радость терять? Я недавно случайно услышала, как Зоэ говорила кому-то, что от твоих сновидений всякий раз молодеет на три тысячи лет, а Зоэ есть Зоэ, она у них главная, сколько бы ни притворялась, будто такая, как все.

Александра снова вздыхает. Марина берет со стола поднос и с необычной для нее серьезностью добавляет:

– Даже если был бы какой-то вред от твоих прогулок, от страха его всяко больше. И, тем более, от тоски.

Александра смотрит на море – вот оно, совсем рядом, до него, Александра уже много раз их считала, ровно сорок шагов. Когда Александра смотрит на море, она ничего не боится. Пока смотришь на море, невозможно поверить, что очень скоро исчезнешь бесследно и навсегда. Наконец она отвечает Марине:

– Ты, конечно, совершенно права.

Сайрус, Зоэ, Марина

– Нет, – говорит Зоэ. – Я против. Нынешняя Маркиза как надо девчонка. Редкая птичка, давно у нас таких не было. Девственницам снятся самые лучшие сны про любовь.

Сайрус предсказуемо кривится, его позиция заранее всем ясна. Сайрус всегда хочет новенького, все равно, чего. «Хуже», «лучше», какая разница, лишь бы не того, что есть прямо сейчас. Дай ему волю, он бы ежедневно Маркизов менял, не присматриваясь, не разбираясь, возможно, вообще не попробовав – так, поиграли, и хватит, следующего давай! Но Сайрус обычно ничего не решает, ему давно надоело командовать. Сайрус не любит власть. Власть это слишком скучно. Всегда заранее знаешь, как будет, потому что будет, как ты велел. Гораздо занятней положиться на чужие решения; обычно они почти так же предсказуемы, как собственные, но все-таки не всегда.

Марина любит Сайруса – ну, это нормально, все любят Сайруса, с ним иначе нельзя – но рада, что Сайрус ничего не решает, зато Зоэ до сих пор не наигралась в начальницу, обожает за всех решать. Для Александры это большая удача. Вот и хорошо. Марине нравится Александра. Сама по себе, а не из-за снов. Марина не смотрит Александрины сны, хотя, пожалуй, не отказалась бы – просто из любопытства. Зоэ они очень нравятся, а Зоэ в подобных вопросах эксперт. Но Марина живая, а сновидения незваных теней – для мертвецов.

Марина – ну ясно же, что к Маркизе Мертвых не могли приставить обычную тетку, в такую дурость может поверить только ничего не понимающий в здешней жизни чужак – так вот, Марина – Старшая жрица древнего культа Порога, о котором знают только мертвые и сами жрецы; строго говоря, все жрецы Порога – добровольные слуги мертвых, и одновременно тайные хранители города Элливаля, помогающие поддерживать здесь баланс между зыбким, но прочным, как сама вечность, миром бестелесных сознаний и убедительно ярким, чувственным, полным радости, но на самом деле хрупким, беззащитным и неустойчивым миром живых. Без жрецов Порога Элливаль давным-давно обезлюдел бы; для его населения это, честно говоря, небольшая беда, нашли бы, куда перебраться, в мире много других городов. Но для мертвых это была бы полная катастрофа. Мертвым никак нельзя оставаться одним, без своих живых.

Забавно, что культ Порога когда-то основал не кто-то, а именно Сайрус. Очень давно; всем в ту пору еще казалось, от того, что мертвые навсегда остаются рядом с живыми, одна только радость, мертвецы не могут доставить проблем. Просто их тогда еще было не слишком много, меньше, чем жителей города. Однако Сайрус заранее подсчитал, представил последствия и не то чтобы сразу придумал, что делать, но культ на всякий случай быстренько основал. Такая уж тогда была культурная парадигма: в любой непонятной ситуации создавай новый культ, – это Сайрус сейчас так шутит, когда кому-то приходит вздорная мысль взирать на него с почтением. Сайрус кривляется и насмешничает, а дело его живет.

И другое великое дело Сайруса тоже живет: добывать подобие подлинной жизни из сновидений заплутавших гостей с Другой Стороны тоже он первым придумал, уже после смерти. Сайрус – гений, конечно. При жизни он был великим жрецом, то есть одновременно колдуном и ученым, а смерть, говорят, даже обостряет ум.

– Чего ты в нее вцепилась, не понимаю, – раздраженно говорит Сайрус. И тут же улыбается так ослепительно, словно этот спор с Зоэ – лучшее из всего, что с ним когда-либо было, чистая радость и высший смысл. С насмешливым сочувствием спрашивает Марину: – Мы скучные, правда? Уже четверть часа о ерунде говорим.

– Вы прекрасные, – кротко отвечает Марина. – О чем бы ни говорили, счастье тут с вами сидеть.

С одной стороны, это обычная вежливость, обязательная для жрецов Порога. Они должны говорить мертвецам только приятные вещи. Ни словом, ни тоном, ни даже взглядом не обижать. Никто из жрецов Порога не станет упрекать мертвых, как бы ужасно те себя ни вели, потому что перед лицом вечности уместно лишь милосердие, порицать и воспитывать имеет смысл только живых. Впрочем, эти двое сейчас ведут себя безупречно, даже голос друг на друга не повышают, хотя мертвые, в принципе, большие любители от души поорать, и не потому что такие уж вздорные, просто скучают по сильным эмоциям, в их положении имитация гнева – гораздо лучше, чем ничего.

В общем, с одной стороны, Марина говорит то, что обязана, просто выполняет свой долг. А с другой, это чистая правда: и Сайрус, и Зоэ почти невозможно

прекрасные, даже без скидки на то что мертвы. Оба любят принимать зримую форму и умеют это, как мало кто. То есть они красивы. Сайрус – небрежной, обманчиво мимолетной юношеской красотой, удивительной для человека, который умер в почтенном возрасте; впрочем, по свидетельствам его современников, Сайрус всю жизнь был такой. Зоэ, говорят, при жизни была совсем не красотка, но после смерти решила это исправить и достигла безупречного совершенства – темная кожа, глаза цвета зимнего моря, тонкие руки, точеные ноги танцовщицы, королевская стать. И ведут себя оба как люди, раздираемые сильными чувствами, хотя ясно, что на самом деле они не чувствуют ничего. Но такова их воля – оставаться живыми или хотя бы казаться живыми, вопреки своей нынешней вечной природе. Вообще всему вопреки. Поэтому, а не по какой-то иной причине тут все зависит от них. У мертвых нет никакой иерархии, но эти двое тут все-таки главные. В ситуации полного равенства главным автоматически становится тот, кому интересно или хотя бы просто не совсем все равно. Ну, как Сиза стала главной по развлечениям, потому что когда-то не поленилась основать «Вчерашний дождь», первый из клубов, куда приглашают самых лучших живых музыкантов, чтобы играли для мертвецов, и до сих пор не остыла к этой затее, по ее словам, только во вкус вошла. Или как Беньямин, который изобрел способ ходить на Другую Сторону, закрытую для живых, начал брать с собой туда всех желающих, потому что в компании веселей, и теперь считается главным по путешествиям, со всеми просьбами и вопросами сразу идут к нему, и дорогу новичкам всегда Беньямин показывает, хотя не обязан. Теоретически, каждый должен справляться сам.

Ладно, сейчас важно не это, а женщина с Другой Стороны, которая сидит с бокалом вина на веранде пляжного бара, буквально в сотне метров отсюда. Интересно, – думает Марина, – как она себе объясняет то, что случилось? Как вообще психика с этим справляется? Вдруг оказалась неведомо где, стала почти прозрачной, какие-то странные тени берут под руки, куда-то ведут, угощают вином, обещают, что все будет в порядке, но толком не объясняют вообще ничего – я бы на ее месте чокнулась, точно, если бы не удалось убедить себя, что это просто затянувшийся сон. Хотя Александра рассказывала, как это приятно – когда начинаешь таять. Так хорошо становится, что ничего не боишься, тебе уже все равно.

Все-таки жизнь по-своему милосердна, – заключает Марина. – В моменты самого невыносимого ужаса соглашается дать наркоз.

– Нынешняя Маркиза мне нравится, – говорит Зоэ. – Не только ее сны, но и она сама. Просто по-человечески нравится, можешь ты это понять? Такая славная девчонка. Обычно, сам знаешь, Маркизы нас еле терпят, боятся, тоскуют по дому, а эта за все благодарна и рада всему. Говорит, жизнь на берегу Соленого моря – лучшее, что с ней случилось, теперь хоть стало понятно, зачем вообще на свет родилась. И в бар почти каждый день приходит, хотя не любит вино – просто чтобы провести с нами время, рядом побыть. Трогательная, как ребенок. На самом деле и есть ребенок. Почти сорок лет, а жить толком так и не начала.

– Ай, они на Другой Стороне почти все такие, – ухмыляется Сайрус. – Жизнь, сама знаешь, только для тех, кто ее взять не боится. Кто боится, обречен уныло существовать. А они там все переполнены страхом, с чего бы им начать жить.

– Да разные они там, – отвечает Зоэ. – На самом деле, примерно такие же люди, как мы… какими мы были. Просто жизнь на Другой Стороне объективно гораздо трудней и страшней.

Марина, конечно, не знает, что там за люди на Другой Стороне. Туда только мертвые ходят, живым наизнанку реальности дороги нет. В других городах, говорят, иначе устроено, многие ходят туда-сюда; Марина в юности много успела поездить – и по работе, и просто для удовольствия, все надеялась, что однажды сможет пройти на Другую Сторону, но случайно не получилось, а проводника, готового устроить приезжей такую экскурсию, нигде не нашла. Но в этом споре Марина согласна с Зоэ. Зоэ обычно к людям строга, и если уж она за жителей Другой Стороны заступается, значит, они и правда хорошие. То есть разные, но, в целом, не хуже нас.

Сайрус нетерпеливо пожимает плечами.

– Ладно, – говорит он, – делай, как хочешь. «Нравится» – вполне понятный мне аргумент. Жалко, конечно, что теперь мы никогда не узнаем, какие сны снятся этой новенькой женщине. Может быть, что-то невероятное, невиданное до сих пор? Новый сногсшибательный опыт, слаще которого нет? Ну мало ли. Пока не попробуешь, не узнаешь. Сам понимаю, что вряд ли, но упущенных возможностей мне всегда жаль.

– Да она обычная, – отмахивается Зоэ. – Таких как она у нас уже сотни были. Нет там никаких особых возможностей, нечего упускать. Нынешняя Маркиза, положа

руку на сердце, тоже не высшая милость судьбы, но хотя бы девственница и мечтательница с буйным воображением и наивным сердцем ребенка, поэтому у нее и правда хорошие сны. А эта – ну, просто нормальная милая женщина. Ее сны будут гораздо скучнее, ты первым станешь молить судьбу о замене, точно тебе говорю.

Сайрус морщится, как от боли, и отворачивается к окну.

– Об одном жалею, – наконец говорит он. – Что моей воли когда-то хватило построить только один дом, способный хранить одного сновидца. Всего одного! С парой сотен Маркизов нам было бы куда веселей. И они могли бы пожить подольше, не уступая место друг другу. Сам дурак, слишком мало тогда хотел. А теперь хотеть уже бесполезно, слишком долго был мертвым. Чудеса получаются только пока еще хорошо помнишь, как был живым.

– Да, к сожалению, так, – кивает Зоэ. – Чего не успел в самом начале, уже не сделаешь никогда. – И добавляет так сердечно и ласково, как Марина до сих пор от нее не слышала: – Не грызи себя, дорогой. Ты и так сделал больше, чем было возможно. Столько радости нам всем подарил!

– Да я бы, знаешь, погрыз себя с большим удовольствием, – ухмыляется Сайрус. – Никогда не любил муки совести, а сейчас интересно было бы заново их испытать. Но такое счастье мне вряд ли светит. Только теоретически могу рассуждать… Ладно, девчонки. Вы победили. Оставляйте свою Маркизу-девственницу хоть навеки, хоть еще на неделю, слова вам поперек не скажу.

Зоэ улыбается торжествующе, а Марина – сочувственно. Потому что, во-первых, вежливость, обязанность, долг. А во-вторых, она и правда сочувствует Сайрусу – хуже нет, чем сделать великое дело недостаточно хорошо. Сама бы страшно переживала; даже если ничего не чувствуешь, а только умом понимаешь, что сделал ошибку и не можешь ее исправить, все равно тяжело.

– Может быть, еще ничего не потеряно? То, что начато, в любой момент можно продолжить. Давай я после смерти попробую построить еще один такой дом, – говорит она Сайрусу. – Или даже несколько. Ты же меня научишь? Подскажешь, что надо делать? Я этого всем сердцем хочу.

– У тебя не… – сердито начинает Сайрус, но смотрит на Марину с таким интересом, словно впервые увидел. – Хотя кто тебя знает, может, как раз получится, если действительно хочешь всем сердцем, а не просто мне в утешение врешь, – неуверенно говорит он. И внезапно воодушевившись, спрашивает: – Ты вообще как себя чувствуешь? Сколько тебя еще ждать? Ничем смертельно опасным не заболела? Жалко. А не хочешь, случайно, покончить с собой на закате? Например, от несчастной любви – да хотя бы ко мне?

Когда Марина от него впервые это услышала, пришла в смятение – чем на такое ответишь? Разве только матросской бранью, презрев свой долг и устав. Потом привыкла, конечно. Сайрус есть Сайрус, ничего не поделаешь, комплименты в его исполнении выглядят так. Ты отличная, мне тут тебя не хватает, давай, помирай уже к нам, будет весело – он это имеет в виду.

– Ладно, – говорит Сайрус. – Решили, значит решили. Пока оставляем вашу девчонку. Раз так, пойду с новенькой выпью. И потом ее провожу.

Сайрус всегда провожает незваные тени – надоевших Маркизов, которых пришло время заменить кем-нибудь новым, и тех гостей, кого решили не оставлять. Это, можно сказать, его доля. И вклад в охрану общественного порядка – под его присмотром незваная тень тихо исчезнет в свой срок на каком-нибудь дальнем пляже, не будет, рыдая, скитаться по городу, детей пугать. Но и милосердие тоже. Может быть, в первую очередь, милосердие. Рядом с Сайрусом не страшно исчезать, он для всех находит слова утешения, всем говорит: «Ничего не потеряно», – врет, как дышит, но очень убедительно врет. А ему самому интересно смотреть, как тают незваные тени. По его словам, все по-разному; то есть, если со стороны смотреть, выглядит одинаково, тают себе и тают, но Сайрус есть Сайрус, он не со стороны на них смотрит, а вблизи, почти изнутри, как смотрел бы сон.

Сайрус

Сайрус наливает еще вина.

Сперва себе, потому что не теряет надежды однажды напиться, как встарь, Сайрус вообще никогда не теряет надежды, он уже четыре тысячи лет после

смерти ее не теряет, а это о чем-то да говорит. В конце концов, у других мертвецов иногда получается совершенно по-настоящему опьянеть, они тогда начинают кто петь, кто рыдать, кто ругаться; со стороны их поведение обычно выглядит безобразно, но вот уж на это точно плевать.

Потом подливает гостье – как ее там зовут? – Тереза? Алисия? Двойра? Алена? Да уже, пожалуй, никак, имя всегда почему-то стирается первым. Странная штука, сколько раз наблюдал, всегда удивлялся: человек еще есть – прозрачней стакана, но все-таки вот он, сидит рядом, слушает, что ты ему говоришь, переспрашивает, отвечает, или молча обдумывает сказанное, верит твоим обещаниям, или напротив, подозревает ужасное и прикидывает, как от тебя сбежать, но что бы истаявший гость с Другой Стороны ни делал, о чем бы ни думал, а имени у него уже нет, и это всегда означает, что времени тоже практически не осталось. То есть у тебя – по-прежнему вечность, а у безымянной незваной тени – хорошо если час.

Времени почти не осталось, – думает Сайрус и подливает безымянной Терезе-Алисии-Двойре-Алене еще немного призрачного вина, хотя она уже пьяна не на шутку. Но в ее положении чем пьянее, тем лучше, больше шансов, что исчезнет легко и без страха. В страхе нельзя исчезать, это Сайрус не сам придумал, а точно знает. Многих уже проводил.

Сайрус хочет курить. Он вообще всегда хочет курить, вернее, помнит, что хочет. Почему-то запомнил это простое желание лучше многих других; так-то, по идее, тело его – только видимость, хотеть курить просто некому, нечем. Но память все-таки остается, поэтому если держать себя в тонусе, постоянно накручивать, не поддаваться блаженной эйфорической легкости, не позволять рассыпаться телу, можно почти взаправду хотеть. Сайрус поднимает руку, нетерпеливо машет, и к нему вприпрыжку бежит мальчишка Макари, тонкий, как прут, рыжий, лопоухий, глазастый, приветливо улыбается до ушей. В «Позапрошлом июне», как в любом из почти полусотни пляжных баров для мертвецов, всегда околачиваются живые, готовые услужить, в основном, молодежь, студенты. Они работают не столько за редкие чаевые, сколько за саму возможность здесь быть, иллюзию причастности к тайнам жизни и смерти. А может быть, и не иллюзию, – думает Сайрус. – Они же правда сидят тут с нами, слушают, смотрят, а где мы, там и тайна, мы сами тайна и есть.

– Покури для меня, – просит Сайрус.

Мальчишка Макари деловито кивает, достает из кармана драных штанов специальную сигару для мертвых. Кто такую закурит, сам ничего не почувствует, только глазами увидит сигарный дым, а мертвому, для которого курят, приятно. И горько, и сладко, и кажется, будто кружится голова, и словно бы какая-то рана в сердце затягивается, хотя давным-давно нет ни сердца, ни раны; в общем, как сам покурил.

Безымянная гостья с беспечностью мыльного пузыря, который не знает, что скоро лопнет, просто не может такое вообразить, таращится на мальчишку с сигарой и на довольного Сайруса.

– Это кааааак? – тянет она нараспев, как заика, потому что язык заплетается. – Оооон за тебя куууурит? Я тоооже хочуууу! Пуууусть и за меняааааа!

– За себя ты и сама покурить можешь, – отвечает ей Сайрус, а мальчишка Макари любезно протягивает гостье с Другой Стороны пачку обычных человеческих сигарет.

– Я не курю! – От возмущения женщина даже слегка трезвеет. – Курить вредно! – объясняет она Сайрусу и мальчишке Макари. – Никотин – это яд!

– Ладно, тогда не кури, – соглашается Сайрус; ему смешно, но и жалко, конечно, бедняжку. Истаяла до исчезновения имени, а все туда же – вредно, нельзя. Совсем они там на Другой Стороне запуганные, от страха заранее стали мертвее самых мертвых из нас, – сочувственно думает Сайрус. А вслух говорит: – Но если ты веришь, что это вредно, тогда и других не проси за тебя курить.

Вряд ли что-то может быть глупей, чем воспитывать человека, который вот-вот исчезнет. Но Сайрус, во-первых, как все настоящие умники, любит побыть дураком, а во-вторых, он, как было сказано выше, никогда не теряет надежды – например, на то, что исчезновение незваной тени, как любая обычная смерть, еще не конец.

Женщина не обращает внимания на его слова, а может, и вовсе не слышит. Допивает вино, кладет на стол уже совсем прозрачные руки, опускает на руки голову, бормочет:

– Я на минуту-минуточку, я немножко, я капельку, я просто так посижу, я не сплю.

У нее даже голос уже прозрачный. У всех исчезающих под конец становятся такие прозрачные голоса, что только мертвецы их могут услышать, а нормальные люди – нет.

– Ты слышишь, что она говорит? – спрашивает Сайрус мальчишку.

Тот отрицательно мотает головой. Ну ясно. Пора ее уводить. На самом деле можно было бы спокойно сидеть здесь дальше, какая ей разница, где исчезать. И с баром ничего не случится, от исчезновения незваных теней не бывает ни шума, ни вони, ни грязи, даже лужа под стулом не натечет. Но Сиза расстроится, будет страшно ругаться, что само по себе даже мило, скандал – отличное развлечение, по крайней мере, для Сайруса, на которого обычно никто никогда не кричит, однако обижать Сизу все же не стоит, да и нарушать обещание – дурной тон. У Сизы уже были из-за него неприятности, совсем недавно, года четыре назад Сайрус привел сюда отличного мужика – венгра? поляка? – короче, пожилого туриста из какой-то далекой страны. По-испански тот мог сказать только «здравствуйте» и «спасибо», по-английски, который обычно худо-бедно знают туристы, примерно тот же набор, и во всем городе не нашлось никого, кто бы говорил на его языке и смог бы помочь с переводом, но это оказалось не особенно нужно, мужик чем больше таял, тем лучше все без слов понимал; короче, Сайрус так увлекся приятной беседой, вернее, ее чрезвычайно интересным отсутствием, что прошляпил нужный момент, и гость исчез прямо в баре, там, где сидел. Так после этого в «Позапрошлый июнь» чуть ли не целый год почти никто не ходил, называли его «проклятым местом», шептались, будто от того мужика в баре остался какой-то невидимый и неощутимый, но внятно горестный след. Причем Сайрус сам сперва в эти слухи поверил, обрадовался – след исчезнувшей тени это же чудо, новое слово в науке! – пытался его отыскать, но оказалось, нет никакого следа, ни горестного, ни ликующего, пустые фантазии, полная ерунда. С ним все легко соглашались, однако в «Позапрошлый июнь» все равно не ходили, Сиза тогда сердилась и горевала почти как живая, «Позапрошлый июнь» – самый первый из ее пляжных баров, она в него, как говорят в таких случаях, душу вложила и до сих пор любит больше всех остальных. Тогда Сиза и взяла с Сайруса слово, что он больше ничего подобного здесь не устроит, будет своих гостей заранее уводить.

Забавно все-таки устроены мертвые люди, – думает Сайрус. – Что у них – у нас! – в голове? Мы уже умерли, застряли здесь, между вечностью и человеческим временем, между собой и памятью о себе, между бытием и отсутствием, между жизнью и смертью, нечего нам терять. А суеверных среди нас даже больше, чем среди живых. Это от скуки, что ли? С жиру так бесимся? Неуязвимых развлекает страх? А поскольку бояться нам объективно нечего, приходится фантазировать? Похоже на то. «Проклятое место» – это надо же было додуматься! Как нас теперь проклянешь? И с какой целью? Чтобы мы от проклятия – что?

Безымянная женщина поднимает прозрачную голову, такую красивую, каких не бывает у нормальных плотных людей, говорит почти трезвым, но уже несуществующим голосом:

– Какое у вас вино удивительное! Как же мне от него хорошо! Только в глазах двоится… троится… тысячерится. Как будто все рассыпается и летит в разные стороны. И я тоже лечу.

– Спасибо, – говорит Сайрус мальчишке Макари. – Гаси сигару, хватит пока с меня. Сбегай в дом Маркизы к Марине, у Марины мой кошелек, скажешь, я тебе задолжал двадцатку. Пусть отдает.

Говорит, и тут его вдруг осеняет: не так надо давать чаевые. Не так! Надо зарыть несколько кладов в потаенных, но вполне доступных местах. И рисовать им карты, чтобы искали. Или выдавать наборы ребусов и загадок, где правильные ответы укажут путь. В общем, надо придумать такие правила, чтобы самому было интересно. Отличная может получиться игра! Даже странно, – удивляется Сайрус, – что я только сейчас додумался. Ну, тем лучше для меня. Сообразил бы раньше, уже давно бы наигрался и бросил, а так будет, чем заняться прямо сейчас.

– Целую двадцатку?! – От изумления мальчишка Макари таращит на Сайруса и без того большие глаза.

Это и правда немалые деньги. Месяц, пожалуй, можно безбедно прожить. Но для Сайруса двадцатка – пустяк. Все-таки он основатель культа Порога – не «бывший», а оставшийся в вечности. А культ Порога очень богат и охотно снабжает деньгами мертвых – собственно, это одна из самых важных его задач.

Может показаться, что бестелесным мертвецам не нужны деньги, но это только на первый, поверхностный взгляд, пока сам не умер и не захотел вдыхать аромат утешительных благовоний, пить призрачное вино, делать подарки осиротевшим родным, слушать лучших на земле музыкантов, и всего остального, что делает посмертное существование вполне похожим на приятную жизнь.

– А почему бы и нет? – смеется Сайрус. – Только чур, никаких разумных трат! Прокути эти деньги, любовь моей жизни. Я хочу, чтобы ты их бездумно, безалаберно, с удовольствием прокутил.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Иосиф Бродский. Фрагмент стихотворения «Пришла зима, и все, кто мог лететь…».

2

Каппа – водяной в японской мифологии.

Купить: https://tellnovel.com/maks-fray/tyazhelyy-svet-kurteyna-zelenyy-tom-2

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити